

Ольхов

Ковчег: Стекланный оазис

18+

Олег Рычков

Ковчег: Стекланный оазис

<https://litres.ru/74671024>

SelfPub; 2026

Аннотация

Стас — разведчик и часовщик, которого весь мир официально похоронил. Под чужим именем он попадает на закрытый объект «Оазис» в Дубае, где должен запустить реактор охлаждения. Но в его часах спрятан фрагмент, а в позвоночнике главы службы безопасности Лайлы — второй. Вокруг этой пары сходятся четыре силы: Хартия, Пакт, «Тень» и Женева. Каждая хочет получить ключ, каждая готова использовать людей как тару. Стас понимает: вынуть фрагмент — убить Лайлу, не вынуть — отдать её тем, кто ведёт счёт. Пока реактор наработывает золото и мир сходит с ума по лентам, он ищет третий ход — между согласием и отказом. Роман о цене знания, человечности и счёте, который не сходится без живого человека.

Олег Рычков

Ковчег: Стеклянный оазис

Ковчег

Стеклянный оазис

Глава 1. Понедельник

Понедельник наступил в шесть ноль четыре — на четыре минуты раньше, чем его ждали. Стас вычислил по тени: она лежала на балконном кафеле ровно до второй плитки. Тень не умеет врать. Афины просыпались медленно, как город, которому давно нечего доказывать. Для человека, которого весь мир официально похоронил, это была хорошая новость. Мёртвым спешить некуда.

Он лежал на спине и держал в голове список. Списка не было ни на бумаге, ни в телефоне — в этой квартире не было ни бумаги, ни телефона, которому он доверил бы список, — но список висел над кроватью так же реально, как потолок. Три срока. Юрист в Лондоне. Утильный фургон. Линия Москва — Женева. Все три даты — один день. Сегодняшний.

Три счёта, сходящиеся в один понедельник, — это не память и не тревога. Это бухгалтерия. Счёт, который сходится сам, — это счёт, который сходился без тебя. А счёт, который

сходиллся без тебя, всегда ставит в минус тому, кто считал вслух.

Квартира была на пятом этаже, в доме, который строили в шестидесятых и с тех пор не трогали: бетон пах сушённым солнцем, лифт работал через раз, как чиновник, взявший на себя смелость интерпретировать расписание. Соседи под третьим этажом жили по своим понедельникам: там кто-то спорил с кофемашиной, и кофемашина проигрывала. Стас лежал и слушал. Квартиру, которую дают под легенду, надо знать ушами до того, как откроются глаза.

Он поднялся в шесть двадцать и проверил квартиру по часовой стрелке. Плинтусы, радиаторы, патроны ламп, щели за шкафом. Приёмника не было — приёмник остался в Лондоне, вместе с легендой, — и он шёл по кругу с телефоном, приложенным микрофоном к каждому патрону, слушая собственную комнату, как слушают грудную клетку. Пусто. На первом круге, на втором. Он не успокоился. В квартире, которую выдают под легенду, жучков не должно быть — и отсутствие жучков означает только одно: слушать будут не комнату. Слушать будут человека. У человека нет патронов. У человека есть привычки.

Он вписал это в блокнот. Блокнот был новым — первая страница, первая строка — и нумерацию он продолжал не с единицы: 2.1. Два означало книгу счёта. Счётчики не сбрасываются. Счётчики продолжают — потому что если счётчик сбросить, сбросишь вместе с ним всё, что он сосчитал.

Стас не хотел ничего забывать. Он и так помнил больше, чем нужно для сна.

«2.1. Смерть чистая. Слишком чистая», — написал он и подумал, что это лучшая эпитафия легенде Эйдена Роули. Если бы надгробия делали из тишины, она бы подошла.

В шесть десять он позвонил юристу.

Не с этой линии — с анонимной, с предоплаченной сим-карты, купленной в аэропорту за наличные. Звонок был не разговором, а проверкой герметичности. Четыре гудка. Автоответчик.

«Контора Прайса и партнёров. Мы вне офиса. Оставьте сообщение, и мы перезвоним».

Голос Дэвида Прайса был живой и вежливый, как и положено голосу человека, который двадцать пять лет закрывал чужие концы, не оставляя следов на пальцах. Стас дослушал и положил трубку. Сообщение не оставил: сообщение — это документ. Он вычел из звонка то, что нужно было вычесть: контора жива, телефон работает, по делу Роули больше не позвонят. Дело закрывалось само — так, как закрываются счета умерших: не отказом, а тишиной. Прайс наберёт квартиру на Клэптон-роуд, не получит ответа, отложит папку, забудет к четвергу. Легенда «независимый эксперт по механическим часам» уйдёт в архив вместе с папкой, в которой не было ни одной настоящей бумаги. Это было правильно.

Это было правильно до такой степени, что Стас позволил себе проверить, не слишком ли. Хорошая смерть должна ид-

ти с сопротивлением: налоговая, соседка, один просроченный счёт за электричество, одна женщина, которая помнит лицо. Смерть без трения — это уборка. А уборку делают для кого-то.

Он вписал: «2.2. Конец легенды без трения. Кто делает уборку» — и не нашёл ответа. Это его не удивило. Ответов у него в последнее время было меньше, чем вопросов. Вопросы умирают последними.

В половине второго по Лондону — четыре пополудни по Афинам — к дому на Клэптон-роуд подкатил утильный фургон. Стас знал сценарий до секунды: сценарий был заказан им же, три недели назад, из письма, которое пришло под чужим конвертом и умерло в топке той же ночью. Серый фургон, наклейка службы утилизации, водитель в синей куртке, которая не куртка, а форма. Водитель поднимется на четвёртый этаж, постучит три раза, выслушает тишину, повернёт ключ — и увидит пустую квартиру: два костюма, три рубашки, бутылку рома и пепельницу с одним окурком он вывез за день до отлёта. Водитель постоит сорок секунд — по протоколу, — заполнит бланк и уедет с пустотой.

Пустота — лучший груз. Её не взвешивают, не растамаживают и не фотографируют для отчёта. В реестре службы появится строка: «объект выбыл, вещей не обнаружено». Легенда Эйдена Роули исчезнет из Лондона не со скандалом — по накладной. Так исчезают вещи, которые больше не стоят своего хранения.

Стас представлял себе этот фургон так ясно, что почти слышал дизель. Далеко не уедешь на воображении. Но иногда воображение — единственная оптика, которая остаётся у человека, наблюдающего за собственными похоронами из другого часового пояса.

В семь сорок по Женеве он включил окно канала.

Окно открывалось дважды в неделю, по вторникам и пятницам, двенадцать минут. Сегодня был понедельник — понедельник не значились в расписании. Сегодняшний понедельник значился в другом: закрывалась линия Москва — Женева — Лондон. Закрытие линии должно было отразиться в эфире так, как отражается на бумаге всё, что происходит с большими суммами: молчанием.

Он настроил приёмник — маленький, без логотипа, из тех, что собирают вручную в трёх странах и продают как ретро, — и повёл валом настройки по диапазону, как шлифуют стекло. Первая частота — помехи. Третья — помехи. Седьмая — дальняя станция, чей-то оживлённый эфир, смех на языке, который он не учил. Чужая жизнь, идущая параллельно его мёртвой. Окно держалось двенадцать минут. Ни несущей, ни точки-двоеточия, ни даже глушилки: глушилка — тоже сообщение, у глушилки есть адресат. Тишина не имела даже адресата.

Значит, канал закрыли сверху. Канал закрывают не тогда, когда нечего сказать. Канал закрывают тогда, когда сказать можно только туда, откуда не ждут ответа.

Он вернул вал в ноль и посидел у приёмника так, как сидят у постели, где только что умер близкий человек: не скорбя, а фиксируя время. Потом вписал: «2.3. Линия закрыта. Молчание документировано». В его ремесле не существовало вещей, которые не были бы документами. Существовали только вещи, к которым ещё не подобрали бланк.

О Москве он знал то, что узнал в Лондоне, в последнюю ночь, из бумаг, которые лежали в кейсе рядом с микросхемой: графа его имени в московском журнале закрыта. Не «откомандирован», не «в резерве» — «ликвидирован при проведении операции». Подпись московская, дата московская, формулировка протокольная. Его хоронили по правилам, аккуратно, как хоронят людей, чьё тело мешает бухгалтерии. Единственное, что ему оставили, — хоронили без тела. За это он был искренне благодарен: тело ещё пригодилось бы, хотя бы для того, чтобы дышать.

«Ликвидирован при проведении операции» — это была не фраза. Это была упаковка. Фразы такого калибра не пишут по ошибке: их пишут, когда нужно закрыть одновременно три вопроса — почему человек не выходит на связь, почему на него не тратят деньги и почему никто не должен его искать. Три птицы, один камень. Камень до сих пор лежал где-то в сейфе в Москве, тёплый от чужой руки.

Он не знал, чья рука. Этот вопрос он переносил из города в город, как носят занозу: не вынимая — потому что извлечение болезненнее носки.

В восемь он сварил кофе — хороший, в турке, купленной на рынке три дня назад, из тех турок, что проживают дольше, чем их покупатели. Хороший кофе он обещал себе ещё в Лондоне: настоящую чашку — на вечер победы. Вечер победы не наступил. Вместо него случился ночной аэропорт, частный борт и море под крылом, слишком спокойное для человека с его профессией. Он решил, что нечестно держать хороший кофе в заложниках у события, которое не пришло. Заварил. Кофе был хорошим. Он не был победой.

На балконе он вынул футляр, достал папиросу и прикурив. Тринадцатая.

Счёт он вёл с Хитроу, и тринадцатая выпадала на порог. Первая — перед посадкой, для механизма, который нельзя остановить вручную. Вторая — в квартире, где пыль лежала слоями. Дальше счёт нёс свои даты, как лента несёт перфорацию, и каждая папироса была точкой в чём-то, что он не решался назвать жизнью. Тринадцать — счёт, который ещё никто не назвал. Он докурил до середины и затушил о костяк балюстрады: до фильтра не докуривал с Лондона. Лондон уже не принадлежал ему — как, впрочем, и Афины: Афины были перевалом, городом-бухтой, где мёртвый постоял две недели и вышел в море под другим именем.

Он не позвонил Элеоноре.

Это надо сказать точно, потому что точность здесь — всё содержание: он не позвонил ей с той ночи, когда они разошлись по легендам. Не потому, что не хотел. Своё не ищут

— это правило он сформулировал сам, пятнадцать лет назад, и не позволял нарушать его никому, включая себя. Правило работало в обе стороны, как дверная пружина: он не искал её — и она не искала его. Это была не холодность. Это была дисциплина двух людей, у которых единственный способ остаться живыми — не существовать друг для друга. Любовь, которая не звонит, не оставляет голосовых сообщений и не вписывает имён в телефоны, — всё-таки любовь. Просто у неё график, как у всей бухгалтерии этого мира.

В десять он сел за легенду.

Паспорт лежал на столе раскрытым — аргентинский, настоящая работа, с настоящими штампами, выцветший ровно там, где выцветают документы, которые прожили свою жизнь. Маркос Тельо. Инженер по системам охлаждения. Он рассказывал биографию вслух, как рассказывают диагноз: не спеша, с деталями, которые не спросит никто. Университет в Росарио. Пять лет на промышленном подряде — масла, насосы, теплообменники. Развод в двадцать девятом, машины нет, привычек нет. Легенда сидела на нём, как сидела раньше легенда Роули: идеально, но с честной потёртостью на локте.

Инженер — хорошее ремесло для него, и он знал почему. Инженерия — его настоящее ремесло, только переведённое на другой язык: в его профессии тоже всё про тепло и про его отвод. Разница в масштабе. Инженер отводит тепло от реактора. Специалист его ремесла отводит тепло от операций, чтобы ни одна деталь не расплавилась раньше времени.

И там, и там главное — вовремя заметить, что тепло пошло не туда.

Тельо должен был думать теплообменниками. Стас позволял Тельо говорить в шестидесяти процентах случаев. Остальное оставалось себе.

На столе рядом с паспортом лежала трость — алюминиевая, с ручкой под орех, честная опора пожилого джентльмена. В её полости, под ручкой, в вате, лежал предмет, который весил меньше десяти граммов и стоил больше, чем весь этот дом вместе с соседями и их проигрывающей кофемашиной. Он не смотрел на трость лишний раз. Смотреть на то, за что тебя убьют, — роскошь, и она процветает только у тех, кто ещё не понимал, за что их убьют.

Первый фрагмент ехал в Дубай не в часах. Часы «Полёт» шли на его запястье — пустые, отмытые, честные, как мост после ремонта: механизм живой, тара мёртвая. Он слушал их ход за завтраком — восемь тиков в секунду, привычный ход, — и думал, что тара без содержимого — это память. Память, которую можно носить на запястье и показывать инспекторам. Память не досматривают.

В одиннадцать анонимный телефон дрогнул — не звонок, вибрация, сервисное уведомление. Он открыл сообщение с той же скоростью, с какой открывают письма, о содержании которых уже догадался: «Уважаемый г-н Тельо, подтверждаем ваше командирование. Аккредитация и пропуск будут выданы по прибытии. Встреча — в среду, 14:00, западный

периметр объекта. Координаты прилагаются».

Подпись не значилась. Подпись не значилась никогда: люди, которые подписывают приглашения в закрытые зоны, не подписывают приглашений в закрытые зоны.

Он положил телефон экраном вниз. Среда. Он рассчитывал въехать в четверг — и вычисления шли по новому курсу: его звали раньше, чем он готов был войти. Это могло означать три вещи: спешку объекта, спешку приглашающей стороны или спешку того, кто оба дела держал в одной руке. Три гипотезы. Ни одной закрытой. Он ничего не вписал в блокнот — не потому, что забыл, а потому, что некоторые записи безопаснее держать в голове: бумагу можно изъять. Смерть — нельзя.

К полудню понедельник закрылся. Три срока сошлись в одну дату — и разошлись по трём направлениям: юрист уйдёт в архив, фургон уедет с пустотой, линия останется тишиной. С четверга начиналась другая бухгалтерия — та, в которой он числился не умершим, а живым по чужой бумаге: Маркос Тельо, командированный специалист, инженер по системам охлаждения. Человек, у которого на запрос истории ответит не память, а справка.

Стас собрал вещи на столе, выключил приёмник, взвесил на руке трость и понял, что трость теперь тяжелее, чем была. Предмет не менял веса — менялась рука.

Он погасил свет и постоял в темноте, слушая, как восьмью тиками в секунду идут пустые часы. Потом сказал в комнату

— тихо, как говорят диспетчеру на посадку:

— Часы идут.

Груз всегда приходил раньше получателя. Так устроен любой счёт: сначала в пункт назначения прибывает товар, потом — покупатель. Среда наступит через два дня. А понедельник уже закрылся.

Глава 2. Спецдоставка

Вторник пришёл в Афины без новостей, и это было первой новостью за девять дней. Город, который умеет хранить секреты ровно до первого апрельского солнца, молчал. Консьерж не смотрел на почтовые ящики дольше, чем на лифт. Сосед снизу не задержался на лестничной площадке. Почтальон прошёл мимо четвёртого этажа с той скоростью, с какой почтальоны проходят мимо всех четвёртых этажей мира.

На конверте, который ждал его под дверью, не было ни марки, ни адреса. Была только накладная — сложенная вчетверо, машинописная, с формой, которую Стас узнал так, как узнают почерк умершего друга: по горизонтали строк.

«Стентон и сын. Часовой сервис. С 1902 года».

Он прочитал накладную трижды. Потом — ещё раз, уже не глазами, а тем внутренним счётом, который не отключается даже во сне: вес отправления — тринадцать килограммов двести; пункт назначения — грузовой терминал Джеббель-Али, хранение до востребования; ключ — слово, указанное отдельной строкой, как пишут в накладных то, что не предназначено чужим глазам.

Ключ был одним словом. «Масло».

Стас сел на табурет у окна и позволил себе шесть секунд, которые не записывал никуда. Шесть секунд — не слабость. Инвентаризация: он пересчитывал то, что только что получил. Больших посылок судьба не делает чаще одного раза в жизни.

Отправитель был жив. Это следовало не из накладной — из формы. Накладные «Стентона и сына» он видел десятков раз, и каждый раз они сходились до пенса: строка к строке, вес к весу, подпись к подписи. Бумаги стариков не врут. Врут люди — когда бумага им не принадлежит. Накладная была стентоновской — значит, Стентон жив, здоров и исполнил то, что обещал конверт, лежавший сорок лет в запечатанной банке.

«Масло Синетика — для тяжёлых калибров». Жестяная банка, которую старик положил на верстак перед уходом в Банк Англии — не попрощавшись, как уходят свои. Стас забрал её тогда в ящик к инструментам — к тем, которые хранят не функцию, а память. В последнюю ночь перед отлётом вернулся в мастерскую, снял крышку и вложил под неё конверт. Адрес без имени. Срок — «если не вернусь к четвергу». И слово-ключ: груз без ключа — это улика, и её подберут раньше, чем приедет получатель.

Он не знал, когда Стентон откроет банку. Знал только, что открытие случилось: старик слышал радио, услышал о человеке, который «действовал в интересах третьей страны»,

понял, что «Кэл» не вернётся, — и сделал то, что делает любой честный держатель невостребованного: отправил по накладной. Невостребованное переходит к держателю. Так работал ломбард.

Внизу накладной, под строкой веса, шла контрольная отметка, которой Стас не видел ни в одной из прежних: «Вес сошёлся до грамма. Приёмка — без вскрытия».

Это означало то, что означали все честные строки: ящик, который лежал теперь в камере хранения в сорока километрах от Персидского залива, весил ровно столько, сколько весил под верстаком в Кларкенвелле. А под верстаком, в ящике с невостребованными механизмами — «Полёты» без владельцев, карманные хронометры вдов, каминные часы, за которыми никто не пришёл, — лежала шайба без марки. Тёмный матовый круг с гравировкой, которой не существовало в каталогах мира.

Ядро «Сингулярность».

Настоящее ядро, которое две трети планеты считали на дне Темзы. Муляж они утопили вместе — он и Элеонора, — потому что муляж нужен воде, а настоящее — держателю. Настоящее оставили Стентону. Стас рассчитал тогда так: старик откроет его, увидит гравировку, положит обратно — и не спросит. Он спросил однажды — «что вы чините?» — и получил ответ «масло». Старые мастера не спрашивают дважды.

Теперь спрашивать пришлось самому себе, и вопросов

было три.

Первый: кто ещё знает, что груз пришёл. Второй: как выглядел дубайский пункт, который принял ящик. В накладной стоял оттиск, которого он не знал: восьмиугольная печать с цифрами вместо букв. Пункт, о котором в его картотеке не было ни строки. Значит, пункт этот старше его вхождения в игру — или принадлежал тому, кто играл дольше. Третьего вопроса он не записал. Держал в голове, потому что он был слишком прост для бумаги: ядро, которое Хартия считает утонувшим, теперь лежит в камере хранения города, где живёт её главный объект. Если это совпадение — то совпадение, у которого есть источник.

В половине одиннадцатого он провёл проверку почвы.

Проверка почвы — это то, на что ты наступишь завтра. Индонезийский паспорт лежал в кофре синим прямоугольником: настоящая обложка, настоящие штампы, биометрический чип, который числился в трёх базах мира. Паспорт не принадлежал ни ему, ни его легендам — он принадлежал человеку, которого не существовало, и за этим человеком десять лет никто не ходил. Но за паспортом могли ходить: паспорта — это то, по чему следят дольше, чем по лицам. Лицо меняется, номер — нет.

Он сделал две вещи за сорок минут.

Первое: запрос об утере — через посредника, через анонимную почту, через консульство, которое не задавало вопросов тем, кто платит пошлину. Запрос стал документом:

документ в системе получил дату, время и адрес, с которого пришёл. Теперь у системы была точка, к которой можно было прикоснуться — и посмотреть, кто отзовётся.

Второе: он сжёг сам паспорт. Над раковиной, как жёг записку Финча в мастерской на Ламбс-Кондуит-стрит, — пламя поднялось синим языком, обложка свернулась в трубочку, страницы пошли тёмными ломтями. Чип не сжёг: вынул — кремьень размером с ноготь, — положил в конверт и опустил в почтовый ящик на углу. Завтра его подберут те, кто собирает чужое.

Так выглядела проверка почты, которую он выучил пятнадцать лет назад: сначала ты создаёшь событие в системе — утерю, заявка, смерть документа. Потом ты смотришь на мир вокруг события. Если за паспортом следили — следящий придёт проверить, чем дышит ветка. Если следящий профессионален — он не придёт, но он сделает то, что делают профессионалы: поднимет адрес, с которого пришёл запрос. А адрес запроса — это сеть, которую Стас выстроил вокруг себя за девять дней: три канала, две квартиры, один человек, который получал почту в чужом имени.

До четырёх часов он сидел у окна и смотрел на улицу. Консьерж не выходил. Почтальон не возвращался. Машина, которая парковалась напротив с утра, уехала в полдень — и не вернулась.

Тишина.

Он не поверил в неё. В его ремесле тишина после провер-

ки — не оправдательный приговор, а вердикт со звёздочкой. Тишина означала одно из трёх. Первое: за индонезийским паспортом никто не ходил — ветка мертва с самого начала, сжигание было похоронами того, что уже умерло. Второе: за паспортом ходили — но следящий понял, что происходит, и не пришёл. Понимающие не приходят на открытые события. Третье — самое неприятное: следящего больше не было, потому что линию закрыли. Как закрыли линию Москва — Женева. Тот, кто закрывает каналы, закрывает и уши.

Он вписал в блокнот: «2.4. Индонезия сгорела без визита. Тишина — не гарантия». И под этой строкой — вторую: «2.5. Пункт Дубая неизвестен. Груз ждёт. Бумага не спрашивает, кто открывал камеру, — и это её главная слабость».

Бумагу он вёл ровно, как ведут счёт: не потому, что записи нужны, а потому, что счёт, который не ведут, становится историей, а истории врут.

К полудню он вернулся к Тельо.

Легенда требовала деталей, и детали он добывал из открытых источников. Открытые врут честнее закрытых: закрытые — по заказу, открытые — по привычке. Пресс-релизы «Оазиса» он читал трижды: не текст — плотность. Официальный релиз проекта, который боится за нефть, пишут длинно и скучно: цифры, сроки, графики, фотографии строителей в касках. Официальный релиз проекта, который боится за что-то другое, пишут коротко: «успешное завершение очередного этапа». Релизы «Оазиса» были короткими. Коротко — это

когда бояться слова «когда».

Инженер по системам охлаждения, которого он изобразил, должен был знать по этим релизам то, что знал каждый подрядчик: контур первичный, контур вторичный, литий, бериллий, плазма. Тельо должен был думать теплообменниками. Стас позволял Тельо говорить в шестьдесят процентах случаев — остальные сорок оставались себе, и в этих сорока процентах он считал не мегаватты. Он считал метры: сколько метров от западного периметра до реакторного зала, сколько метров до помещения, где хранят документы, сколько метров до выхода, который не значится на планах, потому что не значится на планах — это главный признак настоящего выхода.

К трём он собрал сумку: два костюма, три рубашки, инструменты часовщика в холщовом свёртке — сверла, пинцеты, лупа с кратностью, которую не продают в туристических лавках, — и трость. Трость шла в ручную кладь: алюминиевая, с ручкой под орех, честная опора пожилого джентльмена. В полости — то, что весило меньше десяти граммов и не имело цены. Он не смотрел на трость лишний раз. Смотреть на то, за что тебя убьют, — роскошь.

В семь вечера он вышел из квартиры — навсегда: консьерж получит завтра ключ и ответ на почтовый ящик, который не придёт. Он не оборачивался на пятый этаж. Квартиры под легендой — как костюмы: прощаться с ними надо так, как прощаются с одеждой. Оглядывающийся оставляет в

комнате то, чего не видит он, но видит тот, кто придёт после.

В аэропорту, у выхода на посадку, он вынул из футляра папиросу. Четырнадцатая.

Счёт вёл с Хитроу, и каждая папироса была отметкой механизма, который нельзя остановить вручную. Тринадцатая — в понедельник, на пороге смерти Эйдена Роули. Четырнадцатая — сейчас, на пороге чего-то, у чего ещё не было имени. Он знал только, что механизм начался: груз пришёл, ключ подошёл, пункт не спросил. Так начинаются все счёты, которые не закрываются в один день.

Аэропорт говорил на сорока языках одновременно, и ни один не был его родным. Он сидел, положив трость между коленями, как сидят люди, у которых есть то, что нельзя оставлять. Смотрел на табло, где его рейс мигал зелёным: посадка через двадцать минут.

Он думал о Стентоне.

Старик отправил ящик — значит, где-то в его голове уже шёл счёт, который он не покажет никому. Стас знал этот счёт до последней строки, потому что сам вёл его много раз: сначала — вещь, которую не забрали; потом — люди, которые придут за вещью; потом — улица, которая не должна знать. Мастер, у которого пятьдесят лет над верстаком, ничего из этого не умеет. Мастер умеет одно: заводить часы, которые не идут, и закрывать накладные, которые сходятся до пенса. И если Стентон закрыл мастерскую после отправки — снял с крючка плащ, погасил свет и ушёл пешком, не оборачива-

ясь, — то ушёл туда, где его фамилия наконец оправдала вывеску: «Стентон и сын». В Торонто, где страховые полисы продают по боксу из тридцати. Страховые полисы — единственный товар, который продают там, где не умеют чинить.

Стас не знал этого точно. Накладная не сообщала судьбу отправителя — накладные вообще не сообщают судьбу. Но он знал другое: конверт, который лежал под крышкой банки сорок лет, был вскрыт не кем-то — а тем единственным человеком, который мог его вскрыть, не прочитав лишнего. И это знание было дороже содержимого: тот, кто умеет вскрывать чужие письма, не читая их, сорок лет ждал именно этого конверта — не груза, а самого факта, что его когда-нибудь откроют.

Борт объявили на английском, потом на арабском. Стас поднялся, взял сумку и трость и пошёл к выходу номер двенадцать — не спеша, с той скоростью, с какой идут люди, которым некуда спешить по расписанию. Спешить по расписанию — привычка наблюдаемых. Мёртвые не спешат: у мёртвых всё расписание уже исполнено.

В салоне, когда самолёт оторвался от полосы и Афины легли под крыло белой крошкой между тёмным морем и оливами, он достал блокнот и дописал то, что не успел:

«2.6. Груз опережает получателя на две тысячи километров. Если груз нужен не мне — значит, в Дубае его встретит кто-то, кто знает слово. Проверка почты покажет, кто подберёт чип».

Он закрыл блокнот и посмотрел в иллюминатор. Внизу, под ночной Турцией и краем Аравии, шла к цели машина, которую не он заказал, не он загрузил и не он опечатал. Единственное, что он мог сказать о ней наверняка, — то же самое, что сказал бы любой часовщик о механизме, который ходит слишком точно: у этого хода есть мастер. И мастер собирал его не для доставки.

Он позволил себе последнюю мысль этого дня — не записанную, потому что самые точные расчёты живут в голове: Стентон отправил ящик по адресату «до востребования». До востребования значит, что груз ждёт того, кто назовёт слово. Слово знал один человек в мире.

А пункт, который принял груз, уже знал, что он придёт. Приёмка без вскрытия — не вежливость. Подпись того, кто работает с грузами, которые нельзя вскрывать дважды.

Он снял часы — пустые «Полёт», честные, отмытые, — положил их на откидной столик и до приземления слушал восемь тиков в секунду. Механизм шёл ровно. Механизм всегда идёт ровно — за четыре минуты до того, как рассыпается.

Глава 3. Вход

Дубай встречал его канистрой горячего воздуха. Трап опустился, и жара пошла навстречу не как погода — как стена, которую поставили на пути случайных людей. Сорок один градус в девять вечера. Воздух густой, с солью и дизелем. Воздух города, который живёт за счёт того, что не задаёт во-

просов.

Паспортного контроля здесь не было в обычном смысле. Был терминал. Терминал читал лицо — дольше, чем паспорт, секунд двадцать. Все двадцать секунд Стас держал лицо Тельо: усталость перелёта, лёгкое раздражение человека, который летел двенадцать часов эконом-классом, потому что командировочный бюджет не резиновый. Тельо раздражался мелочно и честно. Тельо не скрывал ничего, потому что Тельо нечего было скрывать.

Терминал открыл створку. Гулкий голос объявил: «Добро пожаловать, господин Тельо». Без имени-отчества. Без имени даже — только фамилия. Так обращаются с людьми, у которых есть только функция.

На выходе из зоны прибытия его ждал человек с табличкой, на которой было написано не «Тельо», а «ОАЗИС / КОМАНДИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ / ТЕРМИНАЛ 7». Человек лет сорока, в белой рубашке с коротким рукавом, с папкой из пластика. Он не искал глазами: уже знал, куда смотреть. Это было первое, что Стас отметил: тот не сканировал зал, как делают все, кто встречает незнакомых. Он смотрел в одну точку. В этой точке стоял Тельо.

— Маркос Тельо? — спросил человек. В произношении был акцент, который был не акцентом, а нормой: здесь его язык говорил чуть меньше половины пассажиров.

— Тельо, — сказал Стас. — Часы у меня сбились. Сколько у вас?

— Местное время, — сказал человек и посмотрел на запястье Стаса. Секунду дольше, чем смотрят на часы.

Вторая отметка. «Полёт» лежал циферблатом вверх — честный, отмытый, с механизмом, который шёл ровно. Обычного человека часы не интересуют. Человека, который читает легенды, интересует всё, что на запястье: там носят то, что нельзя бросить — часы, браслеты, счётчики, метки. «Полёт» — не швейцарская марка. На «Полёт» смотрят дважды: первый раз — потому что её не должно быть на руках у аргентинских инженеров. Второй — потому что она бывает и там, где ей положено быть.

— Пять часов разницы с Аргентиной, — сказал Стас и перевёл стрелки на ходу: правой рукой, не глядя, крутя головку. — Значит, сейчас без двадцати одиннадцать.

— Вы вовремя, — сказал человек. — Меня зовут Саид. Я отвечаю за встречу командированных. Дорога займёт сорок минут.

Машина была серой, без опознавательных знаков, с тонированными стёклами. За ними вечер Дубая шёл мимо — огни, башни, краны порта, свет, который здесь не экономили, потому что свет был дешевле воды. Стас считал повороты. Первые восемь километров — трасса, обычная: знак, развязка, знак. Потом — не обычная. Трасса продолжалась, но потекла через будку, где охранник вбежал в окно машины взглядом и поднял шлагбаум, не спросив. Потом — вторая будка. Потом — бетонная стена высотой в три этажа, кото-

рая шла вдоль дороги километр. Колючка сверху свёрнута не как у военных объектов, а как у объектов, которые прячут от спутников: ровно, без колец, под углом, который убивает тень.

Закрытая зона начиналась не с таблички. Она начиналась с ощущения: за стеной не было света. В стране, где свет не экономят, за стеной было темно. Темнота была не отсутствием — дисциплиной.

— Западный периметр, — сказал Саид, сворачивая. — Вам выдали пропуск?

— По прибытии, — сказал Стас.

— Тогда сначала пропуск. Потом всё остальное.

Пропуск выдавали в киоске, который не был похож на киоск. Скорее на манипуляционную, из которой выдают не бумагу, а вердикты. Окно с бронестеклом. Камера сверху, смотрящая не в лицо — в верхнюю губу: губу сложнее контролировать. Женщина за стеклом молча вынула из конверта карту — белую, с чипом, без фотографии, без фамилии — и положила на лоток вместе с листком, на котором было напечатано одно слово: «Тельо». Время действия пропуска: тридцать суток.

Потом она сделала то, чего Стас ждал с самой посадки.

— Украшения и электронику, — сказала она. — В лоток. Правила объекта.

Электроники не было: телефон Тельо остался в Афинах. На встречу в закрытую зону идут с чистым карманом. Часы

— остались.

Стас снял «Полёт» так, как снимают часы люди, которым нечего терять: без колебания, как снимают кольцо перед мытьём посуды. Положил в лоток. Женщина посмотрела на часы — не на циферблат, на заднюю крышку — и поставила их в ячейку с номером сорок семь. Выдала талон. Талон из плотного пластика, с голографической наклейкой, которую не подделаешь за вечер. На нём было написано: «ВЫДАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ — ЯЧЕЙКА 47 — ПРИЁМНОЕ ОКНО ЗАПАДНОГО ПЕРИМЕТРА».

— По выезду, — сказала женщина. — Или по распоряжению службы безопасности.

По распоряжению. Стас услышал это слово и понял, что значит потерять часы: не как вещь — как узел. Часы лежали в ячейке, за которую отвечала служба безопасности. Их можно получить обратно — по выезду, если объект отпустит. Или не получить, если служба безопасности решит, что «Полёт» на запястье инженера из Росарио — это то, о чём стоит написать в отчёт.

Он не сказал женщине ни слова. Взял талон, положил во внутренний карман — туда, куда кладут то, что нельзя потерять, — и пошёл к машине. Часы, которые он нёс пять недель как тару, теперь были на полке чужой службы. Пустые. Он знал, что они пустые. Женщина — нет.

Это была не потеря. Ставка: за часами теперь будут ходить. «Полёт» в ячейке 47 — приманка, которую он поставил

на объекте, не потратив ни дирхама. Тот, кто придёт смотреть на часы, укажет себя. Тот, кто не придёт, тоже укажет — тем, что знает заранее: в часах пусто.

Саид вёл машину молча — до последнего километра. Потом сказал, не поворачивая головы:

— Инженеров по охлаждению у нас ждут трое. Вы четвёртый. Лайла Хаддад примет вас лично.

— Глава безопасности принимает инженеров лично? — спросил Стас.

— Глава безопасности принимает всех, — сказал Саид. — Даже тех, кто не прошёл проверку. Особенно тех.

Машина остановилась у корпуса, который был не корпусом, а общежитием командированных: три этажа, белые стены, кондиционеры, которые шумели так ровно, что шум казался тишиной. Саид вышел, открыл ему дверь — и сказал последнюю фразу этого дня, не глядя, как говорят репетиционный текст:

— Завтра в девять — первичный инструктаж. В одиннадцать — аудитория «Б». Список вас не касается. Одевайтесь, как на осмотр.

— Как на осмотр чего? — спросил Стас.

— Как на осмотр вас, — сказал Саид и уехал.

Номер двенадцатый. Комната — четыре на пять, кровать, стол, окно с жалюзи, которые закрывались не вручную, а по команде из-за стены: кнопки не было, был щелчок в потолке, тихий, как вздох. Стас проверил комнату по кругу — пли-

тусы, щели, патроны. Не потому, что ждал жучков: жучков в комнате для командированных было столько, сколько должно быть. Три, аккуратные, под радиатором, в патроне, в розетке. Он их не тронул. Три жучка — норма. То, что пишут в спецификациях объекта: «контроль командированного персонала». Третий жучок он нашёл не ушами — по температуре: розетка у стола была на полградуса теплее соседних. Тёплая розетка — не поломка. Работа.

Он сел на кровать, вынул блокнот и вписал:

«3.1. Часы в ячейке 47. Полка чужой службы — тоже полка. Кто заберёт часы первым — тот и оператор пункта».

«3.2. Три жучка — норма. Тёплая розетка — четвёртая, не заявленная. На объекте есть тот, кто слушает сверх спецификации. Не служба безопасности: у СБ есть лимиты. Тот, у кого лимитов нет».

«3.3. Лайла Хаддад примет лично. Глава СБ не принимает инженеров — она принимает тару. Вопрос открыт: тару какую».

Под третьей строкой он остановился. Подумал о том, о чём не писал: запись, которую вшил между строк накладной. Накладную могут перехватить. Запись под строкой не прочтёт никто, кроме того, кто знает, где читать. Фрагмент №2 — тара «имплант». Кого — неизвестно.

Лайла Хаддад. Глава службы безопасности объекта, который построен вокруг реактора. Если бы «Тень» — или тот, кто старше «Тени» — решала, куда вшить фрагмент, она не

выбрала бы случайного человека. Она выбрала бы того, кто не выходит с объекта. Того, чьё тело не проходят досмотры, потому что досмотры проводит оно само. Глава безопасности — идеальная тара: её никто не проверяет. Проверять её — значит проверять систему. А систему не проверяет никто.

Он закрыл блокнот. Гипотеза была одна из трёх. Он не собирался её закрывать до данных: закрывать гипотезы раньше времени — роскошь, которой его лишили двадцать лет назад, в первый день в Академии. Преподаватель сказал: «Вы не имеете права быть уверенными. Уверенность — оружие противника».

В девять вечера по местному — в час ночи по аргентинскому, к которому тело ещё не привыкло, — он подошёл к окну и поднял жалюзи. За окном, в двухстах метрах, светился огнями корпус «Оазиса» — то, что светилось, потому что свет им положено. За ним — то, что не светилось: реакторный зал. У него не было огней, потому что огни стоят денег, а секреты стоят дороже.

Он вынул из футляра пятнадцатую папиросу — но не закурил. Подержал в пальцах, положил обратно.

Механизм уже шёл. Но на объекте, где у каждой двери есть счётчик, механизм шёл не только в нём. Он шёл в ячейке 47, где лежали пустые часы. В розетке у стола, которая была теплее соседних. В аудитории «Б», куда завтра позовут четырёх инженеров по списку, которого он не видел. И где-то в этой машине, в том месте, где машина делает то, чего

не видно по чертежам, шёл позвоночник с вшитым в него фрагментом. Шёл ровно, как шла вся эта пустыня: потому что у неё не было выбора.

Он сказал в комнату — тихо, как говорят диспетчеру на посадку, зная, что три жучка слушают:

— Часы идут.

И потушил свет. Жалюзи опустились сами — щелчок в потолке, ровно в двадцать два ноль ноль. Комната закрылась темнотой, у которой был протокол.

Глава 4. Квартира

Жалюзи поднялись в шесть ноль ноль — сами, с тем же щелчком в потолке, только теперь наверх. Объект будил по протоколу. За окном свет не вставал, а включался: пустыня не умеет рассветать постепенно. Она переключает яркость, как рубильник. Всё, что под ней, живёт по переключателю.

Стас не спал с трёх. Не потому, что не мог: он лежал и слушал, как объект меняет смены. В четыре двадцать за стеной прошёл шаг — один, ровный, с интервалом в сорок минут. В пять сорок — тот же шаг, в ту же сторону. Патруль шёл по своей бухгалтерии, и бухгалтерия сходилась. Сходящийся патруль — хорошо. Несходящийся — когда объект знает, что ты знаешь расписание.

Он встал, умылся и посмотрел в зеркало так, как смотрят в него каждый день легенды: с целью. Лицо Тельо было на месте — усталое, пятидесятилетнее, с честной потёртостью, которую нельзя нарисовать, можно только прожить.

Лицо сидело. Лицо работало. Оставалось, чтобы оно не выдало владельца: у лиц, как у легенд, есть привычка выходить на свет в самый неподходящий момент.

Потом он сел за стол и разложил накладную.

Накладная ехала с ним из Афин — во внутреннем кармане куртки, в пластиковом конверте, среди бумаг, которые Тельо имел право везти: контракт, приглашение, медицинская справка о годности. Среди них накладная выглядела бытовым хламом — квитанцией какой-то афинской мастерской, которую лениво выбросить. Хлам — лучшая маска. Хлам не читают.

Он развернул её на столе и выключил верхний свет, оставив настольную лампу — наклонно, под острым углом. Бумага под косым светом выдаёт то, чего не видит глаз при прямом: продавленность чернил, глубину нажима, порядок движений пера.

Три строки накладной лежали ровно, машинописью. Под ними — от руки, чужой рукой, не в строку, а в просвет между строк. Без света и без знания, где смотреть, её не прочтёшь: «фрагмент №2 — тара „имплант“. Кого — неизвестно».

Стас смотрел на строку девять минут. Не читал — смотрел: у записей есть давление, и давление зависит от того, кто писал. Он видел почерк Стентона — пятьдесят лет накладных не пропадут. Старик держал перо, как держат скальпель: ровно, с нажимом на выходе. Контрольная отметка «вес сошёлся до грамма» — стентоновская рука, до пенса честная.

Строка между строк была другой. Перо шло с наклоном влево, нажим ложился на середину, а не на выход. И главное: писал тот, кто знал текст наизусть. Ни одной поправки, ни одного отрыва. Так пишут не письма. Так пишут то, что писали до этого сто раз.

Стентон не знал про фрагменты. Старик знал про ядро — ровно столько, сколько ему показали, и ни на слово больше. Он не мог вписать «фрагмент №2»: это слово не существовало в его мире.

Значит, накладную держали дважды.

Отправитель — Стентон — вписал вес, ключ и адрес. Потом документ ушёл в тот путь, который документам предписан. По дороге его кто-то раскрыл, дописал строку и закрыл так, что изъятие было бы невозможно заметить: в просвет между строк, не в строку. Дописавший знал про фрагмент №2 всё то же, что знал Стас. И не знал главного: кого.

Пункт знал про фрагмент. Пункт дописал накладную.

Это меняло раскладку. Пункт, который знает груз и не знает адресата, — склад. А склад, который ведёт учёт чужих грузов и не знает, кому они назначены, — машина с оператором. Оператор вписал в накладную свою строку. Не для Стаса. Для учёта. Чтобы потом, когда груз дойдёт, сверить: дошёл ли.

Он вписал в блокнот:

«4.1. Накладную держали дважды. Стентон вписал груз. Кто-то вписал фрагмент. Второй — не отправитель: почерк

другой. Второй — пункт. Пункт ведёт учёт, не зная адресата. Оператор существует».

«4.2. „Имплант" — слово не часовое и не банковское. Медицинское. Имплант — операция. Операция — база. База — граф. Граф о железе в теле лежит не в сейфе: в меджурнале. Меджурнал — единственный реестр объекта, который не лжёт. Тела лгут, базы нет».

Под второй строкой он остановился. К меджурналу его пока не подпускают: инженеру по охлаждению доступна охлаждаемая часть объекта — контуры, насосы, машинные залы, — и всё. Медчасть, администрация, склад, служба безопасности — это закрытые графы, и в графе «командированный специалист» значится слово «специализированный»: туда, где не его область, его не зовут. Значит, меджурнал он прочтёт не сейчас. Но прочтёт — и время было на его стороне, потому что у счёта, который ведёт другой, всегда есть период, в который ты можешь подсматривать.

В восемь двадцать он спустился в столовую.

Столовая командированных была на первом этаже: двадцать столов, два ряда шведской линии, окна с жалюзи — такими же, как в номерах, с управлением из-за стены. Кормили одинаково: овсянка, яйца, хлеб, кофе из машины, которая проигрывала так же, как проигрывала соседская. Стас услышал знакомую ноту и подумал, что у кофемашин мира есть общий родитель. Этот родитель не умеет делать кофе, зато умеет делать терпение.

За двумя столами сидели трое. Четвёртый — он.

Трое инженеров по охлаждению, которых упомянул Саид, выглядели так, как выглядят люди этой породы: зрелые, спокойные, со взглядом человека, который двадцать лет смотрит на манометры и больше не удивляется ни давлению, ни людям. Двое — смуглые, коротко стриженные, с часами на силиконовых ремешках: Пакт. Один — бледный, высокий, с французским произношением и часами на коже: Хартия.

Пактовские разговаривали между собой — редко, короткими фразами, без интонаций. Так говорят подрядчики, которые друг другу не доверяют, но зависят друг от друга. Хартиевский не разговаривал ни с кем: он ел, глядя в тарелку, и его тарелка была пуста к тому моменту, когда он сел. Не спешность — методика: кто съедает раньше, тот выходит раньше. Кто выходит раньше — тот не в очереди, а вне её.

Стас сел с краю — не рядом ни с кем, через стол от всех. Так садятся новые, у которых ещё нет права на место. Он ел медленно и запоминал.

Датчанин, старший из пактовских, носил часы с тремя окнами — хронограф. На стройке такие не носят: хронограф — лишняя деталь, а лишних деталей у профессионалов не бывает. Значит, либо подарок, либо привычка из другой жизни, либо то, на что он хочет, чтобы смотрели. Три варианта. Ни один не закрыт.

Второй пактовский держал вилку в левой руке, не переставляя: Европа воспитывает удобно, Азия — правильно. Он

был не из Пакта. Он был из Европы, работающий на Пакт. Это меняло картину: европейский подрядчик на пактовском объекте — либо тот, кого отправили за дешевизну, либо тот, кого отправили за то, что его труднее проверить. Оба варианта ведут к одному: он здесь для чего-то другого.

Хартиевский вышел первым — в 8:34, не допив кофе. Стас отметил время по настенным часам столовой, которые шли вровень с жалюзи. Объект бил время по протоколу, и протокол был суше любых часов.

Он не заговорил ни с кем из троих. Первые сутки легенды не говорят — легенды слушают. Слово, сказанное в первые двадцать четыре часа, запомнят. Запомненное слово — datum, который потом прикладывают к любому событию. Стас не хотел быть datum. Он хотел быть фоном: четвёртым инженером, который не сразу нашёл столовую и взял тарелку у окна, потому что не знал, что со стороны окна сквозняк.

Сквозняк он вписал себе как деталь: Тельо будет жаловаться на сквозняк. Мелкое, честное, не подделываемое. Такое запоминают.

В девять он поднялся к себе — вынуть трость.

Трость стояла у стола, где стояла ночь: алюминиевая, честная опора, ручка под орех. Опора для человека, у которого старая травма колена — так значилось в медицинской справке Тельо. Справка была настоящая — не его. Но настоящий документ чужой травмы дешевле и честнее выдуманного: тело, которое хромот по расписанию, надо уметь хро-

мать без расписания. Стас умел.

На инструктаж он взял трость не для правды. Трость — замедлитель: человек с тростью не должен догонять. Он имеет право идти медленно, стоять в коридорах, смотреть на табло, на планы эвакуации на стенах, на таблички с номерами секторов. Всё это входит в оптику человека с опорой. Никто не смотрит на старика в коридоре: старика в коридоре не видят, потому что стариков в коридорах много и все они одинаковы.

Он положил трость у двери, снял телефон Тельо — выключенный, с одной сим-картой, без контактов, — и сел на кровать. До инструктажа было сорок минут.

Сорок минут он не заполнял ничем.

Это была самая старая его методика, выученная в Академии и не отменённая ни одной страной: перед входом в новую систему надо посидеть в пустоте. Пустота — когда голова ничего не считает, не выстраивает, не защищает. В пустоте видно то, что не видно в работе: например, то, чего ты хочешь. Стас посидел сорок минут и увидел. Он хотел одного — чтобы графа «имплант» не привела к Лайле Хаддад.

Он поймал это желание, как ловят муху стеклом: медленно, без злости, просто накрыв. Желание — тоже datum. И этот datum был самым опасным из всех, которые он собрал за пять недель. Желания ведут не туда, куда идут расчёты. Желания ведут туда, куда ведёт сердце. А сердце у человека его профессии — орган, который первым пишет в отчёте о

смерти.

Лайла Хаддад была гипотезой номер один — не потому, что данных, а потому, что геометрия сходилась: глава СБ не выходит с объекта, глава СБ не проходит досмотры. Саид сказал: «примет лично» и «особенно тех, кто не прошёл проверку». Для того, чтобы принимать тех, кто не прошёл, нужна не воля, а вес. Вес — когда тебя в службе безопасности видят не как начальника, а как систему. Система — тот, у кого есть части, заменённые.

Гипотеза номер два: носитель — один из троих инженеров. Хронограф датчанина. Европейская вилка. Тарелка хартиевского. Три детали. Каждая могла быть деталью легенды — но и каждая могла быть деталью тары.

Гипотеза номер три: носителя на объекте нет. Тару «имплант» везут — или везли вчера, или приедут завтра. В этом случае Дубай — не хранилище, а пересадочный узел: фрагмент идёт дальше. Дальше — на списанные платформы, в Персидский залив, туда, где нельзя держать на берегу. Третья гипотеза была самой неприятной: в ней поиск начинался снова, с нуля. А счётчик его жизни уже шёл.

Он вписал все три гипотезы в блокнот — не как вывод, как таблицу:

«4.3. Носитель: а) Лайла Хаддад — геометрия сходится, данных нет; б) один из трёх инженеров — детали есть, веса нет; в) носителя на объекте нет — тара в транзите. Все три не закрыты. Закрывать раньше данных — роскошь».

И под таблицей — то, что не вписал, потому что бумага изымаема, а голова нет:

«Если „а" — я буду носить это знание, как носят тару. И вопрос будет не „вынуть?", а „зачем системе тело?"».

В восемь пятьдесят пять он встал, взял трость и вышел.

Коридор общежития шёл по протоколу: свет горел половинами, пол был серый — из тех полов, которые выбирают те, кто знает, что по серому не видно следов. Секция за секцией, сектор за сектором. На пересечении — турникет, карточка, звук открывшейся створки, как вздох.

Он шёл к инструктажу — медленно, с опорой, в темпе человека, которому некуда спешить по расписанию. В темпе этом было всё, что он хотел сказать этому объекту: я мёртвый, я командированный, я инженер по теплу, я не ваша скорость, я своя.

На запястье не было часов. Часы лежали в ячейке сорок семь, за талоном с голограммой, у окна, за которым сидела женщина, которая смотрела не в лицо, а в верхнюю губу. Стас без часов впервые за пятнадцать лет не знал время глазами. Узнавал телом: по жалобе колена, по сухости во рту, по той минуте, в которую свет коридора поменял половину.

Это было правильно. Человек с часами на объекте с протоколом — человек, у которого есть вторая система координат. Человек без часов — человек, который принял систему: он живёт по её щелчкам, по её патрулям, по её жалюзи. Система принимает таких. Система выстраивает таких в графу

«внедрён» — и не пересчитывает.

Он шёл по коридору с тростью — и трость стучала в такт. Не в такт шагам — в такт объекту: щелчок жалюзи, шаг патруля, гул вентиляции. Всё это имело период. Стас подстроил шаг под период — не потому, что боялся, а потому, что период — это язык. Тот, кто идёт в такт, говорит системе: я — ваш. Тот, кто идёт в такт и держит в голове чужой счёт, говорит системе другое. Но для этого надо, чтобы система умела читать. А системы, у которых есть лимиты, читать не умеют. Это читают только те, у кого лимитов нет.

В аудиторию «Б» — туда, куда его звали в одиннадцать, — он не пошёл ещё. До девяти оставалось пять минут. За эти пять минут он сделал последнюю вещь этого утра: подошёл к окну на лестничной площадке — опора давала право стоять у окон, — и посмотрел на западный периметр. Вдалеке, за стенами строительных кранов, светилось то, что светилось, и не светилось то, что не светилось. Между ними — ячейка 47: белая точка на плане, час на пути, талон во внутреннем кармане.

Часы лежали там одни — пустые, честные, с механизмом, который шёл без него. Он не думал о них. Думал о том, кто подойдёт к ячейке первым. Методика проста: у ячейки есть окна выдачи, и окна выдачи пишет журнал. Журнал выдачи — счётчик, который покажет, кто и когда спросил про ячейку сорок семь. Вопрос к ячейке — подпись: тот, кто спросит, знает, что там лежат «Полёты». А знать про «Полёты»

на объекте, где все носят кварц на силиконе, может только тот, кому их отдали или кто их ищет.

Ячейка работала приманкой. Он не потратил на неё ни дирхама.

В девять ноль ноль щелчков в стене — свет коридора сменил половину. Стас отошёл от окна, положил ладонь на ручку трости и пошёл — в такт, медленно, с честной потёртостью на локте легенды, — к двери с табличкой, на которой не было слова «инструктаж». Было только: «АУДИТОРИЯ „Б" — ПО СПИСКАМ».

Фразу, которую он сказал вчера в комнату, он не повторил. В комнате сидели три жучка и тёплая розетка. Повторять при них было нельзя: фраза, произнесённая дважды в один день, — уже не диспетчеру, это послание. Послание он вписал в себя — туда, где не изымают:

Часы идут. Идут там, где я их оставил. Пусть идут.

Глава 5. Лайла

Аудитория «Б» оказалась не аудиторией — кабинетом допуска. Двенадцать стульев, стол с формулярами, проектор, который показывал не чертежи, а правила. Правила были скучнее чертежей, и это было правильно. Объект, который боится, показывает чертежи. Объект, который знает себе цену, показывает правила.

Саид вёл инструктаж так же, как вёл машину: ровно, с репетиционными фразами на поворотах. Тридцать одна страница обязательств. Срок действия пропуска. Запрет на съём-

ку, на записи, на разговоры о назначении установки — не «о реакторе»: о назначении. Слово «реактор» здесь не проносилось. Объект называл себя «установкой». Это была не скромность, а грамматика: реактор — то, что преобразует. Установка — то, что установили. Здесь не преобразовывали ничего. Здесь поддерживали состояние.

Хаддад сидела в конце зала.

Стас заметил её раньше, чем она вошла в его поле как факт: по тому, как организовалось внимание зала. Люди в кабинете допуска слушали Саида и поглядывали на часы. Вдруг все семеро разом перестали поглядывать на часы, не договорив движения. Так замолкает кухня, когда входит хозяйка. Никто не сказал ей «доброе утро». На объекте, где приветствие — тоже протокол, молчание в её адрес было не невежливостью. Признание: её здесь не приветствуют. Её сверяют.

Она положила на колени планшет и не открыла его.

Первая деталь, которую Стас снёс в счёт: человек с планшетом на коленях в комнате, где читают тридцать одну страницу обязательств, — человек, которому не нужно читать бумагу. Все остальные читали правила, потому что правил не знали. Она правила знала — она их писала. Пока Саид велел залу ставить подписи, её глаза ходили по залу, не по строкам. Стас поймал её взгляд на себе дважды: один раз — на запястье, где не было часов, второй — на подбородке, на той точке, где у людей живёт первое лживое движение: сжа-

тие жевательной. Оба раза взгляд не задержался. Взгляд, который не задерживается, — взгляд, который уже записал.

В одиннадцать его вызвали лично.

Комната приёма была на втором этаже административного корпуса: стол, два стула, окно с жалюзи — такими же, как в общежитии, с управлением из-за стены, — и камера под потолком, не спрятанная: открытая, с наклоном на стол. Спрятанная камера — слежка. Открытая — процедура: здесь с тебя берут показания, и показания идут в дело.

— Садитесь, — сказала Хаддад.

Стас сел. Она села напротив — и он увидел то, что искал со входа, тем счётом, который шёл в нём параллельно любому разговору.

Она села без движения.

Это звучит просто и звучит невозможным одновременно. Люди садятся в четыре фазы: подход, разворот, опускание, устройство. На фазе «устройство» каждый человек на свете переносит вес: поправляет пиджак, двигает стул, кладёт руку на подлокотник, меняет опору. Позвоночник человека устал ещё в детстве и с тех пор ищет, на что лечь. Хаддад опустилась в кресло одним движением — как закрывается дверь: без поиска опоры, без устройства, без переноса веса. Спина не искала, на что лечь, потому что спина не устала.

Железо не ищет опоры.

— Маркос Тельо, — сказала она, глядя в планшет. — Инженер по системам охлаждения. Росарио. Последний подряд

— ГЭС на Паране, три года. До этого — пять лет на промышленных теплообменниках. Развод, машины нет, вредных привычек нет.

Она не читала с планшета — планшет лежал закрытым. Она рассказывала его биографию ему самому, глядя в лицо. Не контроль данных. Проверка мимики: что делает лицо, когда его жизнь перечисляют вслух. У лжеца на разводе дёрнется что-то — веки, губа, дыхание на полтакта. У честного человека на разводе живёт маленькая настоящая усталость.

У Стаса жил настоящий возраст. Эйден Роули носил пятьдесят два — и Тельо носил пятьдесят два. Лицо, которое смотрело на Хаддад, имело пятьдесят два года честной усталости. Усталость была не Тельо, а его собственной: пятнадцать лет ремесла, две сотни легенд, одна старая травма колена. Она считала его биографию — и не находила лжи. Ложь не лежала в мимике. Ложь лежала в архивах. А мимика была чистой: он не лгал о том, чем притворялся. Он действительно знал теплообменники. Он действительно устал.

— Вопросы по компетенции, — сказала она. — Отвечайте как специалист, не как соискатель. Первичный контур: что вы делаете с бериллиевой оболочкой, когда она насыщена?

— Ничего, — сказал Стас. — С бериллием не работают, когда он насыщен. Работают вокруг него. Насыщение — не состояние оболочки, состояние лимита: до лимита менять нельзя, после лимита менять поздно. Инженер по охлаждению, который берётся за бериллий, — инженер, которому

дали последний контракт.

Она кивнула — на миллиметр. Сменила тактику. Стас увидел смену тактики — потому что ждал её: следующий вопрос был с ложной посылкой, как и положено в проверке. Не «знаешь ли ты», а «удержишься ли поправить».

— При переходе на натриевый теплоноситель, — сказала она, — вентиляция первого контура переводится на азот. Это стандарт?

— Это стандарт, которого нет, — сказал Стас. — Натрий не переносит воздуха вовсе, не только при переходе. Если в контуре с натрием окажется азот в рабочем объёме — вы получите не вентиляцию, а chemistry. Натрий свяжет азот, и нитрид пойдёт по контуру как абразив. С натрием работают в инертной среде. Инертная среда — аргон, не азот. Азот — то, чем страхуются люди, которые никогда не видели натриевый контур вблизи.

Секунда. Он смотрел, как секунда живёт на её лице, — и не увидел ничего. Ни удовлетворения, ни разочарования, ни даже движения век. Лицо, на котором не живёт время, — либо маска, либо очень хорошая дисциплина. Он вписал обе версии и обе оставил открытыми.

— Вы не поправили меня сразу, — сказала она. — Вы сделали паузу. Зачем пауза?

— Чтобы ответ не звучал как готовый, — сказал Тельо. — Готовый ответ — заученный. Заученный ответ у инженера — списанный. Я паузу делаю, когда считаю. — И это было

правдой: правдой вдвойне, потому что пауза была счётом — но не тем, о котором она думала.

Она открыла планшет впервые за всё время — не для чтения: для записи. Два движения пальцами. Он понял, что запись эта — о нём. Понял и то, чего не понял бы соискатель: она не записала вывод. Она записала datum. Выводы эта женщина делает не в кабинете. Выводы у неё где-то дальше, в том месте, куда данные сходятся, как сходятся счета.

— Последний вопрос. Не по компетенции, — сказала она. — Вы третий день на объекте. Ночью вы дважды прошли по коридору — в два десять и в четыре двадцать. Инженеры спят ночью. Что вы делали?

Удар не туда, куда он ждал, — и потому правильный: вся его оборона стояла на компетенции, а удар пошёл по расписанию. Стас позволил лицу Тельо то, что позволяли все пятьдесят два года Тельо: досаду. Короткую, бытовую, честную.

— Счёт, — сказал он. — Бессонница после перелёта. Ходил до окна и обратно, пока не свалило. Если у вашего объекта правила против бессонницы — сообщите мне документ, я буду спать по регламенту.

— Правил против бессонницы нет, — сказала она. — Есть запись о бессоннице. Это не одно и то же.

Она закрыла планшет. Разговор кончился — и кончился так, как не кончаются разговоры у людей: не прощанием, а закрытием счёта. Она встала — одним движением, как закрылась, — и пошла к двери. Стас смотрел ей в спину.

Спина шла под пиджаком прямой линией — без усилия, без столба, без той армейской выпрямленности, которая держится мышцами и к вечеру отдаёт усталостью. Эта линия не держалась: она была. Кондиционированный воздух шевелил ткань на лопатках. Под тканью, между лопаток, линия не отклонялась ни на миллиметр — как не отклоняется вал, у которого нет биения.

Он не смотрел на позвоночник дольше, чем положено инженеру смотреть на женщину, — одну и семь десятых секунды. Этого хватило. По гравировке, по шву, по железу он пока ничего не сказал бы: данных не было. Но геометрия вопроса сложилась целиком. Геометрия была плохой новостью в хорошей упаковке: если фрагмент вшит в человека на этом объекте, то человек этот не выходит с объекта, не проходит досмотров и сидит в конце кабинета допуска, не читая правил, которые написала сама.

Он не хотел, чтобы гипотеза номер один сходилась. Поймал это желание — на пороге комнаты, уже за дверью, в коридоре, где свет горел половинами, — и накрыл, как накрывают муху стеклом: медленно, без злости. Желание — datum. Самый опасный из всех, которые он собрал на объекте. Желания ведут не туда, куда идут расчёты.

Он вернулся в общежитие к четырнадцати. Столовая кормила обедом — тем же, что завтраком, только с заменой яиц на рыбу. Он поел, глядя в тарелку, по методике хартиевского, которого сам же записал утром: кто выходит раньше —

тот не в очереди, а вне её. Он не хотел быть ни в очереди, ни вне её. Он хотел быть фоном.

Вечером он сел к окну и открыл блокнот.

«5.1. Она читает мимику, как я читаю ход. Одна методика с двух сторон стола. Это не делает нас одной стороной. Это делает разговор приёмкой: обе стороны сверяют вес, и обе врут в накладной».

«5.2. Села и встала без переноса веса. Спина не ищет опору — железо не ищет опоры. Ошибка не в том, что у неё в спине. Ошибка думать, что это спина. Спина — тара. Тара — то, что носят. Носителя выбирают».

«5.3. Она записала меня в datum. Запись идёт не в дело СБ: у СБ есть лимиты, у неё их нет. Значит, у её планшета есть второй адресат».

Под третьей строкой он остановился. Не дописал то, что думал. Думал он о том, о чём писать было нельзя даже в блокноте, который держал в сейфе собственной головы: если у планшета второй адресат, то второй адресат читает объект поверх службы безопасности. А тот, кто читает объект поверх СБ, — не наблюдатель. Оператор.

Он закрыл блокнот и подошёл к окну. Жалюзи ещё не опустились — до двадцати двух оставалось сорок минут. Эти сорок минут объект оставлял ему вид: купол, за которым ничего не светилось, и бетон, за которым не было света. Между ними, где-то на белой точке плана, лежали его часы — пустые, честные, в ячейке сорок семь, — и шли без него во-

семь тиков в секунду.

Он не вынул папиросу. Пятнадцатая осталась в футляре — и он знал, что на объекте она не вынется никогда: дым здесь — datum. А datum, который виден с воздуха и пахнет на сто метров, не стоит ни одной отметки счёта. Счёт продолжался в покое. Покой — тоже отметка, просто у неё другая графа.

В двадцать два ноль ноль жалюзи закрылись — щелчок в потолке, ровно по протоколу. Он лёг и положил руку на грудь, как кладут руку на крышку прибора, который должен остаться в нулях до утра. Механизм шёл. В нём, в ячейке 47, в тёплой розетке у стола. И где-то в машине объекта шла спина, которая не искала опоры.

Он думал — перед сном, в тех пяти минутах, которые принадлежат не счёту, а человеку, — не о реакторе. Реактор был работой, а работа решается. Он думал о гнезде: о том, как в часы «Полёт» встала деталь, которую не выпустить живым. И как кто-то однажды смотрел на чертёж человека и решал, где в человеческом корпусе сделать посадочное место. У часов всё просто: гнездо под баланс — выточка, и выточка не болит. У людей сложнее: гнездо под фрагмент — операция. И операцию кто-то должен был провести. Хирург. Оборудование. Бумага о согласии — или бумага вместо согласия.

Лайла Хаддад не знала, что она тара. Он знал это так же твёрдо, как знал цену минуты. Это знание было первым грузом за пятнадцать лет, который он нёс не в трости.

Часы шли. Гнездо тоже.

Глава 6. Хронометр

Он нашёл канал на четвёртый день — там, где искать не собирался.

Объект «Оазис» был устроен как всякая система с длинной памятью: наверху — стекло и протокол, внизу — трубы. Между ними лежал слой, о котором не говорили ни в инструктаже, ни в тридцати одной странице обязательств. Слой назывался «служебные коммуникации». В него входили насосные, коллекторы, кабельные лотки — и маленькая диспетчерская, задвинутая в угол между машинным залом и узлом химводоочистки.

Диспетчерскую не охраняли. Её не замечали. Дверь без маркировки, ключ — по общему пропуску. Внутри — пульт восьмидесятых, релейный, с той мёртвой надёжностью, которую не любит молодое начальство. Релейный пульт хорош тем, что его не читают. Он не пишет логов. Если его включить, он разговаривает с контуром на языке, которого не знает ни одна система безопасности: говорит в провода.

Стас включил его на третий день, в обеденный перерыв, когда объект спал сменой.

Он не стал искать частоту вслепую. У контура охлаждения был свой служебный канал — тонкая пара, идущая вдоль всех насосных и заканчивающаяся здесь, на пульте, в разъёме, которого не было ни в одной описи. Канал построили для проверки датчиков — вручную, обходом, ногами. По-

строили в те годы, когда ещё верили, что если что-то не значится в описи, то оно не существует. Оно существовало. Оно говорило.

Стас приложил к разъёму наушник — обычный, от плеера, купленного в аэропорту, — и услышал контур.

Контур дышал. Это было первое, что он понял.

Реактор, который вокруг называли «установкой», на языке провода назывался проще: он жил. Дышал частотой — не той, что пишут в ТУ, а той, что остаётся после всех поправок: живой, дрожащей, с периодом в двенадцать секунд. Двенадцать — вдох. Двенадцать — выдох. В этом дыхании были все мелочи, которых не показывали датчики: тень от смены давления, эхо от открытого клапана, сдвиг от чужой руки.

Он слушал контур сорок минут. За сорок минут контур сказал ему три вещи.

Первое. Объект работал ровно. Никаких отклонений, никаких ошибок. Это было правильно — и плохо. Ровная установка с ровным контуром на объекте, где идёт большая игра, означает одно из двух: либо игра ещё не началась, либо игра началась не здесь.

Второе. В контуре был посторонний шум. Тонкий, на границе, но посторонний — не тот, который дают насосы, и не тот, который даёт вода. Шум шёл по той же паре, что и сигнал, и шёл не от реактора. Он шёл откуда-то дальше, из той части объекта, куда инженерам по охлаждению доступа не было.

Третье. Шум был ритмичный.

Стас узнал ритм к концу сороковой минуты. Это узнаётся не головой — руками: двадцать секунд, пик, пауза. Двадцать секунд, пик, пауза. Ритм, который он слышал в бункере под Миллуоллом, в трюме баркаса, на дне Темзы, где лежал мультяш с маяком. Двадцать секунд — период маяка, который когда-то сидел в «Ковчеге».

Двадцать секунд — период маяка, который сидел теперь в кабеле объекта.

Значит, «Оазис» — не просто реактор. «Оазис» — полка.

Он вписал это в блокнот той же ночью, при выключенном свете, карандашом — карандаш на бумаге не читается снаружи:

«6.1. Контур жив. Двадцать секунд — пик. Ритм — майский. Полка — на объекте. Или объект — полка».

Он вернулся в диспетчерскую на четвёртую ночь, в два двадцать, когда смена СБ менялась, а смена инженеров спала. Принёс то, что собирал четыре дня: паяльник из стенто-новского свёртка, обрезок кабеля, старый динамик от плеера и одну батарейку на три вольта. Из этого получается приёмник. Из приёмника — разговор.

Он подключился к паре и стал слушать.

Двадцать секунд. Пик. Пауза.

Двадцать секунд. Пик. Пауза.

На третьем цикле, между пиком и паузой, пришло нечто другое — не пик, а тень пика: короткий, вдвое слабее сигнал,

сдвинутый по фазе на полтакта. Стас замер. У маяков такого не бывает. Маяк молчит ровно двадцать секунд. Маяк не имеет права на тень.

Тень шла на четырнадцатой секунде.

Он слушал её сорок минут. Тень повторялась — ровно, каждый цикл, на четырнадцатой. Значит, это не сбой. Значит, это кто-то. Кто-то спрашивает полку, жива ли она.

Утром по объекту прошёл слух — тот самый, который проходит по закрытым зонам раньше, чем по ним проходит начальство: смену инженеров по охлаждению перевели в ночной график. Причина не называлась. Но причина была у всех на лице: контур шёл не туда, куда должен был идти. Химия воды в первом контуре дала сдвиг — небольшой, в пределах допуска, но сдвиг. Допуск не нарушался. Допуск был самой проблемой: система, которая идёт в допуске и всё же идёт не туда, — система, у которой кто-то поворачивает ручку.

Ручку поворачивали с ночи. И поворачивали не в машинном зале.

В три часа дня, на обеде, к нему подсел француз.

Хартиевский инженер — тот, что ел, глядя в тарелку, — на этот раз сидел напротив. В его лице было новое: не скука, не дистанция. Интерес. Тот интерес, с которым смотрят на человека, которого только что увидели впервые, — хотя видели четырежды.

— Тельо, — сказал он. — Вы не удивлены смене графика.

— Удивлён, — сказал Стас ровно. — Просто не показываю.

— Удивление, которое не показывают, — знание, — сказал француз.

— Знание, которое не показывают, — профессия, — сказал Стас.

Француз улыбнулся. Тонко, как улыбаются люди, у которых есть вторая профессия и она не первая. Он не представился. Сказал одну вещь — ту, за которой Стас приехал на этот объект, — и сказал просто, как подают соль:

— Я тоже работал на «Грейвуд». Два года. До того, как они продались.

И встал. Ушёл, не дожидаясь ответа.

Стас остался сидеть.

«Грейвуд Динамикс». Слово, которое не должно было звучать на этом объекте. Слово, которое он последний раз слышал в архиве Sotheby's, перед тем как весь его механизм завертелся. Не имя — метка. Метка «Грейвуд» в его мире означала пол: тот самый умный пол, который держал за подошвы, который они с Элеонорой прочли по чертежу, который отобрал у него двенадцать минут.

Значит, француз знал. И не просто знал — представился меткой. Не Стасу, а тому, кто в нём сидит: не инженеру Телью, не легенде, а тому, кто умеет читать «Грейвуд» с одного слова.

Ночью, в диспетчерской, он собрал приёмник заново —

чище, чем был. Добавил второй контур: теперь прибор умел не только слушать, но и говорить. Не маячить — шептать: короткие, слабые импульсы, которые снаружи не отличить от шума релейного пульта. Это была его азбука: три импульса, пауза, два. Он передал её в тот же час, в ту же секунду, когда по контуру шла тень.

Три, пауза, два. Смысл: «кто говорит».

Ответ пришёл через час.

И ответ был не импульсами.

Канал заговорил голосом.

Это не был голос в эфире — это был голос, собранный из шума релейного пульта. Пульт сам не говорил, пульт работал. Но в его работе, в щелчках, в паузах, в переключениях сидела речь. Кто-то в контуре говорил щелчками — так же, как говорил он сам, когда в прошлой жизни часы несли в себе чип. Щелчок — точка. Двойной щелчок — тире. Пауза в восемь десятых — между буквами.

Стас слушал двадцать минут и записывал. Буква за буквой. Строчка за строчкой. Первое слово пришло на двадцать первой минуте:

«Тельо».

Канал знал легенду. Назвал его по имени, которого он не носил сам. И назвал не по каналу СБ, не по служебной связи, а по этому каналу. По каналу, который он сам нашёл три дня назад. Значит, канал знал о нём раньше, чем он узнал о канале. Значит, канал был здесь не дни, а месяцы.

Он ждал.

Второе слово пришло через четыре минуты:

«Слушай».

Он стал слушать.

Голос шёл щелчками — быстро, ровно, без пауз между буквами. В этом не было спешки. Была уверенность. Так говорит человек, который знает, что собеседник не уйдёт. Так говорит куратор.

Стас записывал. Записал фразу и прочёл её трижды. Фраза была на языке, которого он не учил и который знал слишком хорошо:

«Реактор запустят в четверг. Не в среду. Ты не успеешь. Твоя страна обанкротится через неделю. Нужен второй фрагмент раньше. Жди накладную».

Стас смотрел на фразу и считал не смысл — счёт. Считал то, что было ошибочным, и ошибок было три.

Первая. «Твоя страна». Куратор «Тени» никогда не говорил «твоя страна». Говорил «Федерация» или «Москва» — так, как говорят о том, что принадлежит всем, а не кому-то одному. Слово «твоя» было не служебным. Личным. А личное в служебном канале — не стиль: подпись.

Вторая. «Второй фрагмент». Стас не говорил никому на этом канале про фрагменты. Никакому источнику в мире — кроме Элеоноры, Роттгера и покойного Финча — не было известно, что второй фрагмент существует. Значит, канал либо был тем, кто старше всех, либо тем, кто не должен был знать.

И знал он потому, что накладная с его строкой, «фрагмент №2 — тара имплант», лежала у Стаса в кармане.

Третья. «Жди накладную». Накладная была его словом. Он называл накладными всё, что приходило в его жизнь со стентоновской мастерской. Слово «накладная» было внутренним. И человек на канале говорил это слово вслух, как говорят привычные слова.

Три ошибки. Все три — не в тексте. Все три — в подписи. Он не отправил ответ в ту же ночь. Ответ в его ремесле — ход. А ход, который делают раньше, чем посчитали, — ход, который делают за тебя.

Он отправил один импульс. Тот, который в его азбуке значил «дошло».

И стал ждать.

На пятое утро, в шесть ноль ноль, жалюзи поднялись — по протоколу, — и Стас увидел, что на столике у двери лежит тонкий серый конверт.

Конверт без марки, без штампа, без адреса — как конверт в «The Old Salt», как конверт с «маслом». Накладная.

Он не открыл его сразу. Открыл после завтрака, в диспетчерской, при свете, который падал не в лицо — на бумагу.

Внутри были чертежи.

Три страницы. Схема контура охлаждения первого контура, которой не было ни в одном официальном комплекте. Не та, что висит в машинном зале, не та, что дают инженерам, — та, которую рисуют для того, кто будет настраивать. На

схеме были все секции, все клапаны, все линии. И была одна ошибка.

Ошибка была тонкая. В секции, помеченной «очистка — ртутные ловушки», стояла линия, которой не должно было быть: связка между контуром охлаждения и контуром очистки. Связка эта, если её открыть, сдвигала нейтронный спектр так, что ртуть-196 начинала захватывать поток. И реактор, вместо тепла, начинал считать золото. Золото-197. Золото, которое в контуре очистки значилось отходом.

Стас прочёл схему трижды.

Не подписал. Не позвонил никому. Положил в блокнот — в тот, который не выносил из головы, — и не сказал вслух ни слова.

Он знал, что канал говорит правду. Канал говорил правду про фрагмент. Про реактор. Про ошибку, которую кто-то уже вписал в схему.

Правда на канале была. И правда эта была инструментом.

Он вышел из диспетчерской в шесть пятьдесят, до смены, и пошёл в машинный зал. Не для того, чтобы посмотреть, а для того, чтобы посмотреть на то, что там смотрят другие.

Лайла Хаддад стояла у главного пульта.

Она не читала пульт — смотрела на него, как смотрят на человека, которому не верят и с которым работают. Плечи прямые. Спина не искала опоры. У ног её стоял планшет с открытым экраном, и на экране горела схема, которой не было ни в одном официальном комплекте.

Та самая схема. С той же линией.

Стас не подошёл. Встал в трёх метрах, у колонны, как встают инженеры, которые пришли за своими настройками. Стал ждать, что она сделает.

Она не сделала ничего.

Закрыла планшет и пошла к выходу. Проходя мимо него, сказала — не глядя, ровно, на языке объекта:

— Линия на схеме — не ваша. Линия на схеме — моя.

И ушла.

Стас остался стоять у колонны, в машинном зале, где шумел контур, и слушал.

Он не знал, что это значило. Знал только, что канал — «Хронометр» — и Хаддад говорили об одном. И оба называли это своими словами.

Канал называл это «второй фрагмент».

Она назвала это «линией на схеме».

И то и другое было правдой. Голос, который говорил щелчками, был не голосом куратора. Голос был голосом того, кто знает про фрагменты. А на этом объекте про фрагменты знали только двое: он и тот, кто вшил фрагмент.

Он вписал в блокнот — карандашом, без нажима, той рукой, которая ничего не подписывает:

«6.2. Хронометр говорит про второй фрагмент — значит, знает про полку. Хаддад говорит про линию на схеме — значит, знает про сдвиг. Оба говорят про одно. Оба говорят разными словами. Значит, они друг друга не слышат — или слы-

шат, но не знают, что слышат одного и того же.

Хронометр — не куратор. Хронометр — тот, кто говорит щелчками в том же канале, где говорит полка. Это может быть тот, кто читает полку. Тот, кто на полке стоит. Или тот, кто сам — полка.

Три гипотезы. Ни одна не закрыта».

Он закрыл блокнот и положил руку на стол — ладонью вниз, той стороной, которой не пишут.

В комнате с тремя жучками и тёплой розеткой он не сказал ничего вслух.

Часы — его пустые «Полёт» — лежали в ячейке сорок семь и шли без него. Восемь тиков в секунду, ровно, честно, без сюрпризов.

Но у него теперь было то, что идёт без ячейки: канал, у которого нет ни имени, ни талона, ни графы. И этот канал впервые за книгу говорил не молчанием. Он говорил словами.

Три слова были в нём. «Реактор». «Четверг». «Накладная».

И одно — между строк, которого он не записал, но услышал: **ты не успеешь.**

Часы шли. Гнездо тоже.

Глава 7. Чертежи

Он работал с чертежами так, как работал с механизмами: не читал — разбирал.

Это разница, которую понимают только те, кто двадцать

лет держал в руках чужое. Читать чертёж — видеть, что нарисовано. Разбирать — видеть, чего на нём нет, и понимать, почему это отсутствует именно там, где отсутствует. Отсутствие детали на схеме — не ошибка чертёжника. Подпись того, кто рисовал: он знал, что эта деталь не должна быть видна.

Три страницы лежали на столе в диспетчерской. Он разложил их под углом к настольной лампе — так, как разложил бы баланс под лупой.

Первая страница — общий контур.

Он прочёл её трижды. Первый раз — как инженер: секции, клапаны, расходы. Второй — как часовщик: где трение, где зазор, где точка, в которой механизм начинает жить своей жизнью, если её не смазать. Третий — как тот, кем он был на самом деле: где в этом чертеже гнездо.

Гнездо он нашёл на третьем прочтении.

Не деталь. Узел — маленький, в секции «очистка — ртутные ловушки», на пересечении двух линий, которых не должно было пересекаться. Контур охлаждения шёл слева — тяжёлый, с расходом в триста тонн в час, с давлением, которое держат только трубы из специальной стали. Контур очистки шёл справа — тонкий, тихий, с расходом в сорок. Между ними по проекту стояла глухая стенка: два контура не пересекаются, потому что вода охлаждения и вода очистки живут в разных мирах.

Один мир — тепло, которое надо отвести.

Второй — грязь, которую надо вывести.

На чертеже, который пришёл в конверте, стенки не было.

Между контурами стояла линия — тонкая, в четверть миллиметра, с двумя стрелками и одним вентиляем. Линия, которой в официальном проекте не существовало. Кто-то вписал её в схему — и вписал так, как вписывают не подделку, а правку: не поверх, не в обход, а прямо. Как если бы она там была всегда.

Стас смотрел на эту линию четыре минуты.

Потом снял крышку с релейного пульта — так, как снимал крышку с часов: не чтобы починить, а чтобы посмотреть, что внутри.

Внутри пульта, в самом низу, за релейной платой, лежал жгут проводов — тот, что соединял пульт с контуром. Он шёл дальше, чем было нарисовано в описи: не три метра, а четыре с половиной. Полтора метра лишнего провода уходили из пульта вниз, в кабельный лоток. И шли не в машинный зал, а в другую сторону: в стену.

В стене, за пультом, был люк.

Он открыл люк в тот же час.

Люк был маленький — сантиметров шестьдесят на шестьдесят, — и в нём стояла не аппаратура. В нём стояла труба. Тонкая, в четверть миллиметра на схеме и в дюйм в реальности, стальная, с фланцем на болтах. Труба шла от контура очистки к контуру охлаждения. Та самая линия. Та самая, которую вписали в чертёж — только вписали не для того,

чтобы она существовала в бумаге. Вписали, чтобы она существовала в металле.

Стас положил ладонь на трубу.

Труба была тёплая.

Он не снял руку. Стоял так — ладонью на металле, — и считал тепло. Восемьдесят градусов. Восемьдесят — не аварийная температура: контур охлаждения работает при трёхсот двадцати, контур очистки — при ста сорока. Восемьдесят — температура, при которой обе системы чувствуют друг друга, но ещё не смешиваются. Температура настройки.

Он снял руку и вписал в блокнот, карандашом, без нажима:

«7.1. Линия не нарисована — линия построена. Труба тёплая. Восемьдесят — не поломка. Режим. Кто-то уже открыл вентиль. Значит, чертёж с ошибкой — не чертёж. Инструкция к тому, что уже сделано».

Он вернулся в диспетчерскую к девяти вечера.

На объекте горел свет — ровно, по протоколу, — и в этом свете всё было нормально. Датчики показывали норму. Отчёты шли в норме. Смена сдала пост по норме. Норма — то, что видят датчики. Не то, что есть.

Он сел к пульту и стал считать физику.

Трансмутация ртути в золото — процесс не новый. В пятидесятых его открыли, в шестидесятых пытались применить, в семидесятых списали: реактор производил золото, но производил так, что стоимость золота была выше стоимости

тепла, которое он отдавал. Физика простая: ртуть-196, облучённая нейтронами, захватывает нейтрон, становится ртутью-197, а та через электронный захват превращается в золото-197. Золото-197 стабильно. То самое золото, из которого делают слитки. Проблема одна: ртути-196 в природе мало — ноль-ноль пять процентов от всей ртути. Остальная ртуть — ртуть-198, -199, -200. Они не дают золота. Дают либо нестабильные изотопы, либо ничего.

Значит, чтобы реактор производил золото, надо сделать две вещи.

Первое. Достать ртуть-196 — обогащённую, в количестве, которого нет ни в одной аптеке мира.

Второе. Заставить нейтронный поток идти в нужный спектр — такой, в котором захват нейтрона ртутью-196 становится вероятным.

И вот тут начиналась работа инженера по охлаждению.

Стас знал физику не потому, что учил её. Знал потому, что пятнадцать лет разбирал механизмы: каждый механизм — система, в которой что-то на что-то влияет. И самое интересное всегда происходит не в главной линии, а в связке между линиями. Реактор — механизм. Контур охлаждения — его заводная пружина. Контур очистки — балансовое колесо. А линия между ними — анкерная вилка: деталь, которая заставляет всё идти не туда, куда оно шло, а туда, куда надо.

Он посчитал спектр.

Нейтронный поток в реакторе зависит от температуры. Чем холоднее замедлитель, тем медленнее нейтроны, тем ниже энергия захвата. Ртуть-196 захватывает медленные нейтроны — те, у которых энергия в районе шести-десяти электрон-вольт. Ртуть-198 и -199 захватывают быстрые. Если контур охлаждения работает так, как записано в проекте, весь поток нейтронов идёт в быстрый спектр: реактор отдаёт тепло, а ртуть-198 остаётся ртутью-198. Если контур охлаждения перенастроить так, чтобы часть тепла уходила через линию в контур очистки, замедлитель остывает быстрее. И часть нейтронов переходит в медленный спектр. Та часть, которая нужна.

Ровно та часть, которая нужна.

Он вписал расчёт в блокнот — три строки цифр, которые не имели ни подписи, ни имени, но которые стоили дороже всего, что он когда-либо писал.

«7.2. Линия — не ошибка. Регулятор. Настройка — режим, в котором контур охлаждения частично отдаёт тепло в контур очистки. Тепло уходит. Спектр смещается. Au-197 идёт отходом».

Он закрыл блокнот и подумал о том, о чём не хотел думать.

Он думал о гнезде.

Гнездо — посадочное место. У «Полёта» гнездо выточено в корпусе — под деталь, которой в природе не существовало. У реактора гнездо сварено в трубе — под поток, который в

проекте не значился. У человека гнездо — место, куда встаёт то, что человек не выбирал.

Он не хотел идти в эту сторону. Но механизм уже набрал ход, и ход этот шёл не в реактор.

Он думал о позвоночнике.

Титановый позвоночник — не просто замена кости. Конструкция. Набор сегментов, каждый со своим размером, своей формой, своим гнездом под крепление. Титановые конструкции для позвоночника делают с расчётом на то, что в них не будет ничего лишнего: они и так тяжёлые, и так сложные. Инженеры, которые их проектируют, считают каждый грамм. Если в такой конструкции появляется полость, которой там быть не должно, — не случайность. Гнездо. Гнездо под фрагмент.

Стас знал это теперь так же точно, как знал спектр нейтронов: по геометрии, не по данным. Данных не было. Данных не могло быть. Но геометрия сходилась: фрагмент несут только в том, что не снимают. В теле.

Тело — единственная тара, которую не досматривают.

Он вписал в блокнот — тем же карандашом, тем же углом:

«7.3. Реактор и позвоночник — одно гнездо. Разница в материале: у реактора сталь, у человека титан. Разница в том, что реактор можно перенастроить, а позвоночник — нет. Позвоночник уже настроен. Кем-то. Когда-то. В 2024-м».

В полночь он вышел из диспетчерской и пошёл по коридору — не в общежитие, в другую сторону: туда, где стояла

маленькая комнатка с надписью «МЕДПУНКТ — ПО ЗАПИСИ».

Медпункт был закрыт. Конечно, закрыт: ночь, объект, протокол. Но у медпункта была особенность, которую он заметил ещё в первый день: его окно выходило на внутренний двор, и это окно не имело жалюзи. Все окна объекта имели жалюзи, управляемые из-за стены. Медпункт — не имел. Медпункт был единственной комнатой на объекте, в которой жалюзи не было. Единственной, в которой свет горел всегда: ночью — дежурная лампа, днём — дневная. И никто не спрашивал, почему.

Стас стоял в тени стены и смотрел в это окно.

За окном ничего не было видно, кроме света. Но свет — тоже информация. Свет в медпункте горел ровно, не мигая, с той стабильностью, которую даёт лампа, у которой есть резервное питание. Резервное питание в медпункте закрытой зоны — норма. Но резервное питание в медпункте, который не имеет жалюзи и в котором никто не спит, — не норма. Режим.

Он постоял у стены семь минут.

В комнате с тремя жучками и тёплой розеткой он не сказал ничего.

Он лёг на кровать и стал считать то, что считал всегда в конце дня: счёт, который не сходился.

Чертёж с ошибкой пришёл от «Хронометра». Чертёж говорил: настрой реактор так, чтобы золото шло отходом. Чер-

тёж говорил: линия между контурами — регулятор. Чертёж говорил: сделай то, что уже сделано.

Лайла Хаддад сказала: «Линия на схеме — не ваша. Линия на схеме — моя».

Француз сказал: «Я работал на „Грейвуд"».

Медпункт не имеет жалюзи.

Три источника, четыре факта, ни одного ответа. Но было одно, что сходилось: все они говорили об одном месте. О том месте, где в живом механизме стоит гнездо.

Он выключил лампу и лёг в темноту.

В темноте шёл ритм — двадцать секунд, пик, пауза. Он больше не слышал его ушами: слышал тем, чем слышат механизмы, — костью. Полка говорила. Ровно, честно, без сюрпризов. Полка говорила то, что говорила всегда: я здесь, я жива, я жду.

А в трёхстах метрах от него, в корпусе администрации, в комнате, где жалюзи управляются из-за стены, спала — или не спала — женщина, у которой в спине стояло гнездо.

Он не закурил. На объекте он не курил.

Он просто лежал и слушал, как идёт чужая полка. И думал о том, что в его ремесле нет разницы между полкой и гнездом. Разница только в том, кто держит ключ.

Глава 8. Розыск

Утро началось с дождя.

Дождь в Дубае — не погода. Событие. В городе, где вода стоит дороже нефти, дождь — то, о чём говорят в новостях,

что собирает людей у окон. Двадцать минут небо разверзается, вода падает на стекло и песок. Через час от неё не остаётся ничего, кроме влажного воздуха и запаха мокрого бетона.

Стас смотрел на дождь из окна диспетчерской.

Он пришёл в шесть, до смены. Не потому, что не спал — потому что спать было нельзя. Со вчерашней ночи, с той минуты, как он положил ладонь на тёплую трубу за пультом, в нём шёл счёт, который не отключался. Счёт шёл по двум линиям сразу: физика и люди. Физика говорила: линия построена, вентиль открыт, настройка идёт. Люди говорили: кто-то построил линию, кто-то открыл вентиль, кто-то знает, что настройка идёт.

Физика сходилась. Люди — нет.

Он сел к пульту и включил приёмник.

Канал молчал.

Он слушал сорок минут. Двадцать секунд — пик, пауза. Двадцать секунд — пик, пауза. Полка шла ровно. Тень на четырнадцатой — та, что спрашивала, жива ли полка, — тоже шла ровно. Ничего нового. Ничего, что говорило бы о том, что в мире за пределами объекта что-то изменилось.

А потом канал заговорил.

Это был не ритм полки. Ритм «Хронометра» — щелчки релейного пульта, собранные в речь. Стас надел наушник и стал записывать.

Буква за буквой.

Первое слово: «Элеонора».

Он записал его и остановился. Потом продолжил.

Второе: «Вэнс».

Третье: «Розыск».

Четвёртое: «Погибла».

Пятое: «При задержании».

Он записал всё. Потом прочёл трижды — так, как читал чертежи: не смысл, структуру. Структура была простой: имя, статус, факт, обстоятельство. Формулировка протокольная. Та, которую ставят в сводках, когда хотят, чтобы её прочли и поверили.

Он снял наушник и положил на стол.

Двадцать минут он сидел неподвижно.

Он не думал о ней. Думал о счёте: кто, зачем, почему сейчас. Кто-то в мире — тот, кто держит книгу, — решил, что ему нужно сообщить о смерти Элеоноры Вэнс. Не показать тело, не дать доказательства, не дать протокола — сообщить. Сообщение без доказательства — не информация. Удар. Удар, рассчитанный на то, что человек, получивший его, дрогнет.

Он знал этот приём. Он сам его применял.

Он встал и подошёл к окну.

Дождь кончился. На бетоне осталась тёмная полоса — там, где вода стекла с крыши. Полоса была неровная, с двумя изломами. Он смотрел на неё и считал: два излома — две ошибки в том, кто писал сообщение.

Первая: «розыск». Элеонору Вэнс не объявляют в розыск.

Она не та фигура, которую ищут официально. Её ищут тихо, через свои каналы, через своих людей. Розыск — слово для тех, кого ищут по бумаге. Официально её не искали никогда.

Вторая: «погибла при задержании». Формулировка протокольная, но в ней нет деталей. Протокол без деталей — протокол, написанный не для дела, а для того, кому его покажут. Настоящий протокол имеет место, время, кто задерживал, кто констатировал. Здесь деталей не было. Значит, это не протокол. Сообщение.

Он вернулся к пульту и выключил приёмник.

Он не поверил.

Это надо сказать точно, потому что точность здесь — всё содержание: он не поверил не потому, что знал правду. Он не знал правды. Не знал, жива ли Элеонора, мертва ли, где она, что с ней. С того вечера, как они разошлись по легендам, у него не было о ней ни одной вести. Своё не ищут — правило работало в обе стороны: он не искал её, она не искала его. Не холодность. Дисциплина.

Он не поверил по другой причине. По той, по которой не верил ни одному сообщению без подписи. Сообщение пришло по каналу «Хронометра». «Хронометр» — не куратор. Тот, кто знает про фрагменты, кто говорит щелчками, у кого подпись не сходится. Сообщение от того, чья подпись не сходится, — не сообщение. Ход. Ход, который делают, чтобы посмотреть, как ты ответишь.

Он не собирался отвечать.

Он вписал в блокнот — карандашом, без нажима:

«8.1. Сообщение пришло по каналу Хронометра. Имя, статус, факт. Детали отсутствуют. Протокол без деталей — не протокол. Сообщение без доказательства — не сообщение.

8.2. Две ошибки: „розыск" (не ищут официально) и „при задержании" (нет места, времени, свидетелей). Ошибки — в формулировке, не в факте. Значит, формулировку писали не те, кто держал. Писали те, кто хотел, чтобы я дрогнул.

8.3. Не верю. Но не знаю. Разница между „не верю“ и „не знаю“ — разница между ходом и ожиданием. Я буду ждать».

В Лондоне, в это же утро, Эдгар Вэнс сидел в кабинете, который не был его кабинетом.

Кабинет отца — дубовый стол, лампа под зелёным абажуром, портреты предков на стенах. Эдгар вошёл в него три недели назад, после того как ему сказали, что сестра мертва. Он не плакал. Вэнсы не плачут. Он сел за стол отца и стал думать о том, что теперь делать с тем, что осталось.

Осталось много. Хартия — та, что двести лет держала деньги мира и теперь стояла с обнажёнными счетами перед всем миром. Семья — та, что требовала ответа. Имя — то, которое он теперь носил один.

Он не знал, что сестра жива.

Знал только то, что сказали ему люди из «Тени» — те, что вышли на него через адвоката, через письмо, через ту вежливую формулу, которой начинаются все разговоры с теми,

кто потерял. «Мы понимаем вашу утрату. Мы понимаем, что вы хотите защитить имя. Мы можем помочь».

Помощь была простой. «Тень» предлагала то, чего не предлагал никто: проект фальсификации публичной бухгалтерии. Взять слепок, который ушёл в мир, и сделать так, чтобы он перестал быть правдой. Не удалить — невозможно. Опорочить. Показать, что данные — не данные, а сфабрикованная бумага. Дать миру то, что мир хочет: сомнение.

Эдгар согласился.

Он не знал, что тем самым даёт «Тени» рычаг на Лондон. Не знал, что «Тень» использует его, чтобы получить доступ к тому, что осталось от Хартии. Не знал, что сестра жива. Он знал одно: он делал то, что сделал бы на его месте любой Вэнс — защищал имя.

Он подписал бумаги в тот же вечер.

Бумаги были тонкие — три листа. Подпись легла ровно, как ложилась подпись всех Вэнсов с восемнадцатого века: с наклоном влево, с той честной усталостью, которую вырабатывают не в школах, а в семьях, где подписывают всё.

Люди из «Тени» взяли бумаги и ушли.

А через сутки по каналу, который шёл в Дубай, пошло сообщение. Пять слов. Имя, статус, факт, обстоятельство. Слова, которые должны были сломать человека на другом конце.

Эдгар об этом не знал.

Он сидел в кабинете отца и смотрел на портрет сестры — тот, что висел на стене с тех пор, как она уехала из дома.

Портрет написали в год её двадцатилетия. Она смотрела с холста прямо, с той самой прямой спиной, которую он помнил с детства.

— Прости, — сказал он портрету.

Он не знал, что говорит с живой.

В коридоре объекта, когда Стас шёл к выходу, его встретила Лайла Хаддад.

Она стояла у окна — того самого, у которого стоял он час назад. Стояла без движения. Спина не искала опоры.

— Тельо, — сказала она.

— Госпожа Хаддад.

— Вы сегодня не работали.

— Я работал.

— Вы сидели в диспетчерской и слушали пульт. Пульт не пишет логов. Пульт не имеет отношения к вашей компетенции.

Она не спрашивала. Говорила то, что знала. И знала не потому, что у неё были жучки в диспетчерской — жучков там не было, он проверял. Она знала потому, что читала его. Читала мимику — ту, которую не могла прочесть машина, потому что машина не читает лица, а она читала. По той же методике, по которой он читал механизмы: по мелким отклонениям, по точке, где ход идёт не туда.

— Вам что-то сообщили, — сказала она.

— Мне сообщают многое, — сказал Стас. — Объект сообщает мне каждый день. Инструктажи, обязательства, про-

токолы. Вы сами пишете эти протоколы.

— Не эти, — сказала она.

Он посмотрел ей в лицо.

Лицо было ровное — не маска, дисциплина. И в этой ровности он увидел то, что видел всегда в тех, кто умеет читать других: она ждала, что он дрогнет. Не потому, что хотела поймать, — потому что хотела понять. Понимание — то, что делает глава безопасности. Её профессия. Она читала его так же, как он читал её. И в этом чтении не было вражды. Была работа.

— У меня умерла коллега, — сказал он.

Это была правда. Точная правда, с поправкой, которую он не озвучил: он не знал, умерла ли коллега на самом деле. Но слово «умерла» — то, что нужно было сказать. Ложь в четыре слога хуже лжи в три — он говорил это Элеоноре в Лондоне, — и сейчас он говорил правду в три.

Она не дрогнула. Смотрела на него ещё секунду. Потом сказала:

— Соболезную.

И ушла.

Он остался стоять у окна.

Он не знал, что она записала в планшет. Не знал, кому отравила. Знал только, что она сказала «соболезную» — ровно. Ровно — не холодность. Ровно — когда человек слышит то, что слышит, и не позволяет себе лишнего. Так говорят те, кто сам терял. Так говорят те, кто помнит.

Он вписал это в блокнот — последней строкой дня:

«8.4. Хаддад сказала „соболезную“. Не по протоколу. По себе. Она знает, что такое терять».

Вечером, в комнате с тремя жучками и тёплой розеткой, он лежал на кровати и слушал, как идёт полка.

Двадцать секунд. Пик. Пауза.

Он думал не о сообщении. Думал о том, что сообщение было не о ней. Сообщение было о нём. Кто-то в этом мире решил, что его можно сломать одним словом. И слово это — не «смерть». Слово это — «Элеонора».

Он знал, что за этим словом стоит. Та, которую он не искал и которая не искала его. Человек, с которым он разошёлся по легендам — не потому, что хотел, а потому, что другого способа остаться живыми не было.

И он знал ещё одну вещь, которой не знал никто: если сообщение — правда, его счёт сойдётся иначе. Если сообщение — ложь, счёт сойдётся так же. Потому что счёт — не то, что было. Счёт — то, что остаётся после того, как всё случилось.

Он закрыл глаза и не закурил.

Папироса осталась в футляре — пятнадцатая. Он знал, что не вынет её на этом объекте. Но сегодня впервые подумал, что, может быть, вынет — потом. Где-нибудь. В месте, которого ещё нет на карте.

Он сказал в темноту — тихо, так, чтобы три жучка не различили слов:

— Часы идут.

И полка ответила — двадцать секунд, пик, пауза, — как отвечала всегда: я здесь. Я жива. Я жду.

Глава 9. Вставка. Мешков

Москва входила в зиму так, как входят в чужой дом: без стука, без предупреждения. Утром плюс два и дождь. К обеду минус четыре и ветер. К вечеру — тот ровный, сухой холод, который в этом городе называют «уже зимой», и все понимают, что это значит: до апреля не будет ничего другого.

Полковник Мешков пришёл на службу в семь сорок.

На столе лежала папка. Красная.

Он знал, что в ней. Открыл — и увидел то же, что видел три недели назад: карточку Ворохова, штамп «расход», строку на обороте: «Статус изменён по запросу. Основание: линия 12. Исполнитель: без подписи».

Мешков сел и открыл папку.

В папке, кроме карточки, лежала сводка. Та, которую он читал утром: «При проведении контртеррористической операции на территории Соединённого Королевства ликвидирован гражданин РФ Ворохов С. В., находившийся в розыске по факту государственной измены. Компетентные органы партнёрских служб информированы».

Семнадцать слов. В них было всё: «ликвидирован» — значит, офицер; «государственная измена» — значит, виновный; «компетентные органы информированы» — значит, формальность соблюдена. И ни одного слова о том, кто про-

водил операцию, зачем, по чьему приказу.

Мешков смотрел на эту строку четыре минуты.

Он не был удивлён — в его мире не удивляются строкам, которые появляются без его ведома. В его мире удивляются люди, которые думают, что они контролируют то, что видят. Мешков контролировал то, что видел, — и строка, которую он не писал, была не неожиданностью. Она была datum. Datum, который требовал прочтения.

«Линия 12».

В его службе было двенадцать линий. Он знал их все — не по номерам, по сути. Линия 1 — это европейская сеть. Линия 2 — это Ближний Восток. Линия 3 — это Азия. Линия 4 — это Америка. Линия 5 — это всё, что связано с наукой и техникой. Линия 6 — это работа по бывшим союзным республикам. Линия 7 — это связи с братскими службами. Линия 8 — это контрразведка. Линия 9 — это аналитика. Линия 10 — это дезинформация. Линия 11 — это работа по негосударственным структурам. Линия 12 — это было то, чего в его списке не значилось.

Линия 12 не существовала.

Он знал это потому, что двадцать два года в аппарате — это двадцать два года, за которые человек знает все линии, которые есть в его службе. Линии не меняются: их можно реформировать, переименовать, слить, но то, что было линией, остаётся линией. Линия 12 не значилась ни в одном списке, который он видел. Ни в одном приказе, который он

читал. Ни в одной сводке, которую он держал в руках.

Значит, линия 12 — это линия, которая существовала вне службы. Или — над службой.

Он встал, подошёл к сейфу и открыл его.

В сейфе лежали его блокноты — те самые, в которых он вёл записи, которых не ведут в делах. Двадцать два блокнота, по одному на каждый год. Он достал последний, тот, который вёл сейчас, — и раскрыл на странице, где неделю назад записал строку: «Тот, кто спросил строку, — тот, кто держит. Ворохов не расход. Ворохов — актив. Актив, у которого нет держателя».

Он перечитал эту запись трижды.

Потом взял карандаш и под ней дописал:

«Линия 12 — не в службе. Линия 12 — над службой. Проверить по архиву: были ли случаи изменения статуса по линии 12 до этого».

Он закрыл блокнот и положил его обратно в сейф.

В его ремесле есть правило, которое выучивают не в Академии: если ты получил строку, которую не можешь объяснить, — ищи источник. Источник — это тот, кто имеет право поставить строку без подписи. А тот, кто имеет право поставить строку без подписи, — это не начальник. Это тот, кому подчиняется начальник.

Мешков знал, что у его службы есть начальник — генерал, который сидел на четвёртом этаже и которому он докладывал. Он знал, что у генерала тоже есть начальник —

тот, который сидел ещё выше и которого он видел дважды за тридцать один год. Он знал, что выше этого начальника есть те, кого он не видел ни разу — те, кого в его мире называют «держателями». Но держатели — это не должность. Держатели — это функция. Держатели — это те, кто держит то, чего не должно существовать.

Линия 12 была похожа на держателя. Но держатель не ставит строк в учётные карточки. Держатель не работает с бумагами, которые читают в кабинетах. Держатель работает с тем, чего в бумагах нет.

Значит, строка пришла не от держателя. Строка пришла от того, кто держателя обслуживает.

Он пошёл в архив.

Архив службы был на минус первом — не потому, что так удобнее, а потому что так безопаснее: то, что находится в подвале, легче забыть. Архив занимал три зала, из которых два были заполнены стеллажами, а третий — рабочим пространством с четырьмя столами и одним молодым сотрудником, который сидел за дальним столом и читал сводки. Молодого сотрудника звали Сергей, ему было двадцать четыре, и он работал в архиве второй год. Мешков знал его по имени, потому что Мешков знал всех по имени: имя — это то, что нужно для счёта.

— Серёжа, — сказал он. — Линия 12. Есть что-нибудь?

Молодой сотрудник поднял голову. Он не удивился — в архиве не удивляются вопросам. В архиве удивляются тем,

кто приходит с ответами.

— Линия 12, — сказал он. — Такой линии в реестре нет.

— В реестре нет. А в архиве?

Сергей задумался. Потом встал и пошёл к стеллажам. Мешков ждал.

Сергей вернулся через двадцать минут.

— Есть одна папка, — сказал он. — Она числится как «материалы по обеспечению операций линии 12». Она в закрытом хранении. Доступ — по разрешению начальника службы.

— Что в ней?

— Не знаю. Я её не открывал. Я не имею права.

Мешков кивнул. Он не собирался просить Сергея открыть папку. Он собирался открыть её сам — но не сейчас. Сейчас он хотел узнать другое.

— Когда папка поступила?

Сергей посмотрел в реестр.

— Три недели назад. С грифом «срочно». Поступила из канцелярии, но не через нашу канцелярию. Через общую.

— А кто в канцелярии её принимал?

— Не знаю, — сказал Сергей. — В реестре только отметка о поступлении. Принимал не наш сотрудник.

Мешков смотрел на молодого человека секунду. Потом сказал:

— Спасибо, Серёжа.

И ушёл.

Он вернулся в кабинет к полудню.

Красная папка лежала на столе там, где он её оставил. Он открыл её снова и стал читать — уже не карточку, а то, что к карточке прилагалось. Прилагалось немного: справка о закрытии графы, копия шифрограммы, которая ушла в Лондон три недели назад, и — в самом низу, на тонком листе, который он сначала не заметил, — перечень фамилий. Перечень был короткий: шесть фамилий. Пять из них он знал. Шестая фамилия была его.

Полковник Мешков.

Это была не случайность. Случайностей в его мире не бывает: случайность — это то, что случается с теми, кто не считает. Фамилии в перечне — это люди, которые «держали» Ворохова. Пять человек — аналитики, инструкторы, куратор, начальник отдела. Шестой — тот, кто закрыл графу. Тот, кто поставил штамп «расход».

Если графа Ворохова закрыта «по линии 12», то все, кто к ней прикасался, — тоже под линией 12. И тот, кто ставил штамп, тоже. И если линия 12 не значится в службе — значит, все шестеро числятся не в службе. Они числятся в чём-то другом.

Он вписал в блокнот — карандашом, без нажима:

«Шесть фамилий. Пять известны. Шестая — моя. Линия 12 знает, кто ставил штамп. Линия 12 ведёт не Ворохова. Линия 12 ведёт всех, кто держал Ворохова. Мы не закрыли графу — графа закрыла нас».

Он закрыл блокнот и откинулся в кресле.

В его кабинете было тихо. В коридоре за дверью ходили люди, но их шаги не проникали внутрь: стены были толстые, двери — массивные, воздух — свой. Он сидел в этой тишине и думал о том, о чём не думал тридцать один год.

Тридцать один год он работал так, как работают учётные работники: не решал, а записывал. Он не выбирал, кто жив, кто мёртв, кто в расходе, кто в активе. Он записывал то, что решено, — и в этом была его честность. Честность человека, который не принимает решений, а ведёт счёт.

Сегодня впервые за тридцать один год он понял, что счёт — это тоже решение.

Он поставил штамп «расход» — и тем самым закрыл графу. Он не думал тогда, что закрывает не то, что нужно. Он делал свою работу. Но строка на обороте, которую поставил кто-то другой, меняла всё: его штамп был неверным. Ворохов не был расходом. Ворохов был активом — активом, который кто-то держал. И тот, кто его держал, имел право изменить статус без подписи.

Значит, был второй счёт. Счёт, который вёл не он. Счёт, который вёл кто-то по линии 12.

И этот счёт шёл не в его книге.

Он вышел из кабинета в три часа дня и спустился на минус первый.

Архив закрытого хранения был в конце коридора, за железной дверью, у которой стоял пост. Пост был пуст: сотруд-

ник, который должен был там сидеть, ушёл на обед. Мешков знал это расписание — расписание в его мире не менялось годами. Он открыл дверь своим ключом — ключ у него был с тех пор, как он стал полковником, — и вошёл.

Закрытое хранение было маленьким помещением: три стеллажа, сейф, стол, лампа. На стеллажах стояли папки с грифами, которых он никогда не видел. Он искал ту, которая числилась как «материалы по обеспечению операций линии 12».

Он нашёл её на втором стеллаже, на нижней полке.

Папка была тонкая. Он снял её, положил на стол и раскрыл.

В папке было три листа.

Первый лист — список из двенадцати фамилий. Двенадцать человек, все — сотрудники службы. Пять из них он знал лично. Двое — сидели в этом же здании, на других этажах. Трое — были на пенсии. Двое — числились в длительной командировке.

Второй лист — список из шести фамилий. Те же, что в красной папке. Плюс его.

Третий лист был схемой. На схеме — двенадцать квадратов, соединённых линиями. В центре — один квадрат, обведённый жирно. В квадрате — слово, написанное от руки, тем же почерком, что и строка на обороте карточки:

«Женева».

Мешков смотрел на схему четыре минуты.

Он знал, что такое Женева. В его мире Женева была не городом — она была функцией. Женева была тем местом, где деньги, которые нельзя держать в Москве, лежали так, как их нельзя держать в Москве: тихо, без имени, без истории. Женеву в его службе знали все, кто работал с финансами. Но Женеву в его службе не называли. Женеву в его службе называли иначе: «канал».

Канал — это то, что соединяет. Канал — это то, по чему идут деньги, грузы, люди. Канал — это не место. Канал — это функция.

Но на схеме Женева была не каналом. Женева была тем, что стоит за каналом. Женева была тем, кто канал держит.

И Ворохов — седьмая фамилия в списке — был тем, кого канал вёл.

Он закрыл папку.

Он не сделал копий. Он не вынес её из архива. Он поставил её на место — на нижнюю полку второго стеллажа, — закрыл дверь закрытого хранения и вернулся в кабинет.

Он знал теперь то, что не знал утром: графа Ворохова закрыта не под операцию. Она закрыта под чужой план. План, который ведёт Женева. План, который не значится в его службе. План, в котором он, полковник Мешков, учётный работник с тридцатью одним годом выслуги, — не автор. Он — исполнитель. Исполнитель, который поставил штамп, не зная, что штамп ставят под чужой счёт.

Он сел за стол, взял блокнот и вписал последнюю строку

дня — карандашом, тем же углом, тем же нажимом:

«9.1. Графа закрыта под чужой план. План ведёт Женева. Линия 12 — не служба. Линия 12 — канал. Канал — не место. Канал — держатель. Ворохов — не расход. Ворохов — актив. Актив, у которого есть держатель. Держатель — не в Москве».

Он закрыл блокнот и положил его в сейф.

В шесть вечера он вышел из здания.

Москва стояла в холоде — том самом, который уже не отступает до апреля. Он шёл пешком — не потому, что не было машины, а потому, что ходить пешком — это то, что делает человек, у которого в голове идёт счёт. Машина — это скорость. Скорость — это то, что мешает думать.

Он думал о Женеве. Не о городе — о функции. О том, что где-то за каналом сидит тот, кто держит. И держит не деньги. Держит схему. Схему из двенадцати фамилий, в которой шесть — уже не служат. Шесть — служат. И одна — пока держится.

Он думал о Ворохове. Не о человеке — о строке. Строка, которую он закрыл, — живая. Строка, которая закрыта под чужой план, — это строка, которая не закрыта. Она открыта. Она открыта где-то там, где его служба не считает. И если она открыта, значит, у неё есть счётчик. Счётчик, который считает её независимо от того, как считает он.

Он думал о том, что теперь делать.

Тридцать один год он не задавал себе этот вопрос. Трид-

цать один год он делал то, что должен, и в этом была его честность. Сейчас он должен был одно: найти того, кто ведёт план. Не потому, что он хотел быть героем. Потому что он был учётным работником, а учётный работник не терпит, когда его счёт не сходится. Его счёт не сходился: он поставил штамп «расход» на человека, который, по чужому счёту, был активом. Это не ошибка. Ошибка — это то, что исправляют. Это расхождение. Расхождение — это то, что копают.

Он дошёл до метро и остановился.

У входа в метро стоял мужчина. Молодой, в сером пальто, с той свободой рук, у которой нет ни груза, ни спешки. Мужчина не курил. Мужчина не смотрел на часы. Мужчина смотрел на Мешкова — прямо, без прищура, как смотрят те, кто знает, кого ждёт.

Мешков не повернул головы. Он вошёл в метро, спустился на эскалаторе и поехал вниз.

Молодой мужчина в сером пальто остался стоять наверху.

Глава 10. Вставка. Веллер

Лондон после краха не стал другим городом. Он стал собой до конца.

Веллер понял это на третье утро, когда вышел на пост и не увидел на воде ни одной лодки. Раньше в это время — шесть сорок — на Темзе уже шли: рыбаки, грузовые баржи, первый паром. Теперь река стояла пустая. Не мёртвая — пустая: вода шла, как шла всегда, но по ней никто не ехал. Так бывает на дорогах, которые перекрыли не шлагбаумом, а молчани-

ем: никто не запрещал, все просто перестали.

Он стоял у ограды лодочной станции и смотрел на воду.

Тринадцать лет он стоял на этом посту. Тринадцать лет знал реку по звуку: как она дышит утром, как затихает к обеду, как идёт к вечеру. Сейчас она дышала иначе — ровно, без чужих голосов. Река без лодок — река, у которой отняли работу. Веллер знал, что это значит. Он сам был рекой без лодок уже тринадцать лет: стоял, смотрел, ждал. И никто не приходил.

Он вернулся в сторожку и сел к столу.

Стол был тот же, что тринадцать лет назад: дубовый, с облупившимся лаком по краю, с ящиком, который открывался туго. В ящике лежали накладные. Он вёл их сам — не потому, что кто-то заставлял, а потому, что накладная — единственное, что в его мире не вралось. Лодка придёт, лодка уйдёт, накладная останется. В накладной — вес, время, имя. Всё остальное — слова.

Он вынул из ящика последнюю накладную и перечитал.

Страница лежала в ней же, между листами: та, которую ему оставили в конверте под колышком, на котором висел зелёный шнурок. Он получил её неделю назад — прочёл тогда же, у стены, спиной к городу. Строка была его. Строка была про сына. Строка была закрыта — но не вычеркнута.

Он не знал, что с ней делать.

Он знал только, что она — его. Единственное, что у него осталось от сына: строка в чужой книге, закрытая, не вычерк-

нутая. Он носил её с собой — не в кармане, в сторожке, под ящиком, — и каждый день открывал, чтобы перечитать. Не потому, что забыл. Потому что боялся, что если перестанет читать, строка исчезнет. Строки в его мире исчезают, если их не читать. Так исчезают вещи, которые никому не нужны.

Он не пошёл в полицию.

Не пошёл никуда. Тринадцать лет он стоял на посту и знал: тот, кто идёт, — приходит. Тот, кто стоит, — дожидается. Он стоял.

На четвёртый день после краха на станцию пришли двое.

Они не были похожи на тех, кто ходит по воде. Один — в тёмном пальто, с той свободой рук, у которой нет ни груза, ни спешки. Второй — в сером, с папкой, которую он держал двумя руками, как держат то, что не должно упасть. Они не спросили про лодки. Не спросили про аренду. Спросили:

— Вы Веллер?

Он кивнул.

— Мы из «Грейвуд Динамикс», — сказал тот, что в тёмном. — У нас к вам дело. Есть груз, который нужно сохранить.

Веллер смотрел на них и не отвечал.

Он знал, что такое «Грейвуд». Тринадцать лет он стоял на посту у воды, и мимо него шли не только лодки: шли люди, шли бумаги, шли конверты. Он читал накладные — не потому, что ему поручали, а потому, что сторож, который не читает накладных, — не сторож, а мебель. В накладных, ко-

которые приходили на его станцию, «Грейвуд» встречался дважды. Оба раза — в графе «получатель». Оба раза — на той стороне, куда он не смотрел.

— Какой груз? — спросил он.

— Тот, за которым придёт человек, — сказал тот, что в тёмном. — Вы его не знаете. Он придёт и спросит про лодку. Лодку «Ирис». Вы дадите ему то, что мы оставим.

— Что вы оставите?

Человек в тёмном достал из кармана тонкий конверт — серый, без марки, без штампа. Положил на стол.

— Это.

Веллер не взял конверт.

Он смотрел на него так, как смотрел на воду: ровно, без интереса, с той внутренней дисциплиной, которая вырабатывается у тех, кто стоит на посту тринадцать лет. Конверт лежал на столе, и в его неподвижности было что-то, что Веллеру не нравилось. Конверт, который оставляют, — не подарок. Передача. Передача — то, что делают, когда не хотят держать.

— Почему я? — спросил он.

— Потому что вы стоите на месте, — сказал человек в тёмном. — И потому что вы не идёте. Мы проверяли.

Он не объяснил, что значит «проверяли». Веллер не спросил. Он знал: за ним смотрели. Как он читает накладные. Как открывает ящик. Как каждый день пересчитывает строку про сына. Смотрели, потому что сторож на посту у воды — узел.

Узел — то, через что идут. Через него шли накладные, через него шли люди, через него шло всё, что шло по воде. Он был не человеком. Точкой.

— Сколько? — спросил он.

Человек в тёмном посмотрел на него секунду.

— Вы не поняли, — сказал он. — Мы не покупаем. Мы оставляем. Вы можете взять конверт и положить в ящик. Вы можете не брать, и мы уйдём. Это ваш выбор.

— А если я возьму и открою?

— Тогда вы узнаете то, что вам не нужно знать. — Человек в тёмном не улыбнулся. — Мы не запрещаем. Мы предупреждаем. Это разные вещи.

Он взял конверт.

Не потому, что поверил, и не потому, что хотел. Потому что тринадцать лет он стоял на посту и знал одну вещь: если тебе что-то оставляют, — значит, это что-то уже в тебе. Конверт на столе — не выбор. Факт. Отказаться от факта нельзя: можно только сделать вид, что его не было.

Он положил конверт в ящик, под накладные, — туда, где лежала строка про сына. Двое ушли. Он остался сидеть.

Через минуту он открыл ящик и вынул конверт обратно.

Конверт был тонкий, из той бумаги, которая не шуршит. Внутри — один лист, сложенный вчетверо. Веллер развернул его на столе, под лампой, и прочёл.

Это была накладная.

Форма — та же, что у всех накладных, которые он вёл три-

надцать лет: графы, строки, вес. Но содержание было не его. Отправитель не значился — значился код, короткий, в семь знаков, латиница с цифрой. Получатель — тоже код. Груз — слово, которое Веллер не знал: «имплант». Приписка внизу, от руки, тем же почерком, что и на карточке у Мешкова, — тем же, что на обороте карточки Ворохова, — тем же, что на схеме с квадратом «Женева»:

«Фрагмент №2. Тара — живая. Хранить до приёмки».

Веллер смотрел на эту строку четыре минуты.

Он не знал, что такое фрагмент №2. Не знал, что такое приёмка. Знал только одно: слово «живая». В его мире «живая» — то, что дышит. Тара, которая дышит, — не тара. Человек. И тот, кто пишет «тара — живая», — тот, кто знает, что в этой таре лежит. Знает, но не говорит. Не говорит — потому что не имеет права. Не имеет права — потому что не он держит.

Он вписал в свою записную книжку — не в накладную, в ту, где вёл счёт постов и меток, — одну строку:

«Конверт от Грейвуда. Накладная без отправителя. Груз: имплант. Тара живая. Хранить до приёмки».

И под ней — вторую:

«Я — сторож. Меня используют как полку».

Он не знал, что это значит. Но знал, что это правда.

Тринадцать лет он стоял на посту и знал: тот, кто стоит, — держит. Держит лодки, держит ключи, держит накладные. Держать — не работа. Функция. И если тебе дают то, что

нужно держать, — ты не становишься хозяином. Ты становишься полкой. Полка — то, на что кладут. Полка не выбирает.

Он вышел на пост в тот же вечер.

Вода шла пустая. Набережная шла пустая. Город стоял в той ровной, сухой тишине, которая бывает после краха: не молчание, а остановка. Веллер стоял у ограды и смотрел на воду. В этой воде — тёмной, вечерней, без лодок — он видел то, что видел тринадцать лет: своё отражение. Отражение было тем же. Оно не изменилось. Оно стояло.

Он вынул из кармана папиросы — не свои, те самые, серые, с турецким табаком, которые брал по накладной на спецпитание. С тех пор как он получил строку про сына, он курил их каждый вечер. Не потому, что хотел. Потому что строка была связана с ними. Строка про сына лежала в той же накладной, что и папиросы. Он курил — и читал.

Он закурил. Дым пошёл вниз, к воде, — туда, где уходили все дымы этого города.

— Часы идут, — сказал он.

Он не знал, откуда взялась эта фраза. Не слышал её раньше. Но она пришла — сама, как приходят строки, которые нужно произнести. Он сказал её воде. Вода не ответила.

На следующий день пришёл третий.

Не из «Грейвуда». Из тех, кого он не знал вовсе: человек в сером пальто, молодой, с той же свободой рук, что и первый. Он не зашёл на станцию. Стоял на мосту — там, где мост

перекинулся через шлюз, — и смотрел на пост Веллера.

Веллер видел его. Стоял у ограды и видел.

Человек на мосту не подошёл. Не помахал. Не сказал ни слова. Он постоял двадцать минут — ровно столько, сколько Веллер стоял у ограды, — и ушёл. Ушёл в ту сторону, откуда пришёл.

Веллер не обернулся.

Он знал этот язык. Язык постов: тот, кто стоит на своём посту и видит чужой, не подходит. Подходить — нарушение. Нарушение — подпись. Подпись — то, что не ставят те, кто стоит.

Вечером он сел за стол и раскрыл записную книжку.

Он вёл её с первого дня на посту — тринадцать лет, одна страница в день. В ней были записаны все лодки, все накладные, все, кто приходил на станцию. Он вёл её ровно, как ведут счёт: не потому, что нужно, а потому, что счёт, который не ведут, становится историей. А история — то, что переписывают.

Он открыл страницу за сегодня и написал:

«10.1. Конверт от Грейвуда. Накладная без отправителя. Груз: имплант. Тара живая. Хранить до приёмки.

10.2. Сегодня на мосту стоял человек. Не подошёл. Смотрел двадцать минут. Ушёл.

10.3. Я — сторож. Меня используют как полку. Полка не выбирает, что на неё кладут. Но полка знает, что на ней лежит».

Он закрыл книжку. Потом открыл снова и дописал:

«10.4. Строка про сына закрыта. Не вычеркнута. Я найду того, кто закрыл».

Он не знал, что это значит. Не знал, как это сделать. Знал только одно: тринадцать лет он стоял на посту. Теперь он стоял с конвертом. Конверт был не его. Но конверт лежал в его ящике — и в этом было что-то, чего он не понимал.

Он выключил лампу и лёг на койку в углу сторожки.

Вода за окном шла ровно. Вода шла без лодок. Вода шла, как шла всегда: река не спрашивает, кто по ней едет. Река просто идёт.

Веллер лежал и слушал.

Он не знал, что стал носителем счёта. Не знал, что в накладной, которую он положил под ящик, уже стоит строка «принято». Не знал, что с этого вечера в чужом журнале — в том самом, где была строка про сына, — появилась новая графа: «Носитель: Веллер М.». И в графе этой стояло слово, которое он не увидит никогда: «активен».

Он знал только одно. Завтра будет новый день. Завтра он выйдет на пост. Завтра кто-то придёт — или не придёт.

И он будет стоять.

Глава 11. Ошибка

Он вернулся к чертежу в третью ночь.

Не потому, что забыл, — потому что считал. Между первым чтением и этим лежало четыре дня: смена графика, слух о ночных работах, француз с «Грейвудом», сообщение

о смерти Элеоноры. Четыре дня он держал чертёж в голове и не трогал руками — так делают с механизмом, который боишься сорвать: сначала думаешь, потом берёшь.

В третью ночь он понял, что дальше думать нечего.

Он разложил три страницы на пульте и включил лампу. Свет лёг косо, слева, как ложится у мастера. Он прочёл схему четвёртый раз.

Ошибка была на месте.

Она была не одна. Их было две. Вторая объясняла первую.

Первая — линия между контурами. Та самая, в четверть миллиметра, с двумя стрелками и вентилем. Он видел её с первого раза. Она была правильной ошибкой: тонкой, вписанной в общий поток так, чтобы не бросаться в глаза тому, кто читает сверху вниз. Он тогда подумал: подпись чертёжника.

Вторая была глубже.

Он нашёл её на четвёртом чтении: в секции, помеченной «контур очистки», стоял расход. Сорок тонн в час. Стандартная цифра. Но рядом, в скобках, мелко, карандашом — тем же почерком, что на обороте карточки Мешкова, что в накладной Веллера, — стояла вторая цифра: тридцать восемь.

Разница — две тонны в час.

Две тонны в час — то, чего не хватает контуру очистки, чтобы держать температуру. Две тонны в час — ровно тот объём, который уходит через линию в контур охлаждения. Линия, которую вписали в схему, — не добавка. Компенса-

ция. Кто-то отнял у очистки две тонны — и вернул их через линию.

Он смотрел на эти две цифры — сорок и тридцать восемь, — и в нём щёлкнул тот самый спуск, который щёлкал всегда, когда механизм сходился: маленький, сухой, анкерный.

Значит, это не ошибка. Ошибка — то, что делают, когда не умеют. Здесь умели. Здесь отняли и вернули — чисто, как отнимают и возвращают в бухгалтерии: одна строка в дебет, одна в кредит. Линия между контурами была не регулятором спектра. Балансиром. Кто-то уже настроил контур — до него, без него, до того, как его сюда прислали.

Он вписал в блокнот — карандашом, без нажима:

«11.1. Ошибка в расходе: 40 → 38, карандашом. Разница — две тонны. Ровно то, что уходит через линию. Линия — не добавка. Компенсация. Настройка уже сделана.

11.2. Тот, кто вписал 38, — тот же почерк, что на карточке Мешкова и в накладной Веллера. Один человек. Одна рука. Одна линия.

11.3. Значит, „ошибку“ в чертеже я не нашёл. Я нашёл чужую работу, которую от меня прятали. Чертёж — не инструкция. Чертёж — отчёт. Кто-то отчитался за меня».

Он закрыл блокнот и выключил лампу.

В диспетчерской стало темно. Релейный пульт гудел — ровно, на низкой ноте, той самой, которой гудит всё, что работает без свидетелей. Стас сидел в темноте и считал не физику. Физика сходилась. Он считал людей.

Тот, кто вписал линию, — знал про фрагмент. Тот, кто вписал 38, — знал про контур. Тот, кто говорил щелчками на канале, — знал про фрагмент тоже, но не знал, что линия уже построена. Это следовало из его сообщения: он предлагал настроить реактор так, чтобы золото шло отходом. Но настройка была уже там. Значит, канал отставал. Канал знал про план, но не знал, что план исполнен.

Три человека. Или один, говорящий в трёх местах. Или трое, говорящие в одном.

Ни одна версия не закрыта.

Утром его вызвали в машинный зал.

Не вызов — приглашение: Саид зашёл в столовую, где Тельо ел овсянку, и сказал ровно то, что было в протоколе: «После завтрака — к главному пульту. Хаддад просит присутствия инженеров по охлаждению». Саид не смотрел на него, когда это говорил. Смотрел в планшет — так, как смотрят в планшет, когда не хотят смотреть в лицо.

Стас отметил: «просит». Не «требуется». Слово, которое ставит Хаддад в позицию просящего. Позиция просящего — позиция того, кто не уверен, что получит. Глава безопасности, которая не уверена, — либо проверка, либо нужда. Оба варианта плохие: проверка — она читает; нужда — она просит.

В машинном зале стояли четверо.

Двое пактовских — датчанин и второй, европейская вилка, — у схемы на стене. Хартиевский француз — у колонны,

руки в карманах, взгляд на пульт. И Хаддад — в центре, у главного пульта, спиной к залу.

Спина была прямой. Спина не искала опоры.

Стас вошёл последним и встал у двери — в трёх метрах от всех, в позиции инженера, который пришёл по вызову и не имеет в этом зале дела. Позиция фона. Фон не читают.

Хаддад обернулась.

— Господа, — сказала она. — Смена графика продлена. Контур работает на пониженной температуре третьей сутки. Причина не установлена. Датчики показывают норму. Схема — вот она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.